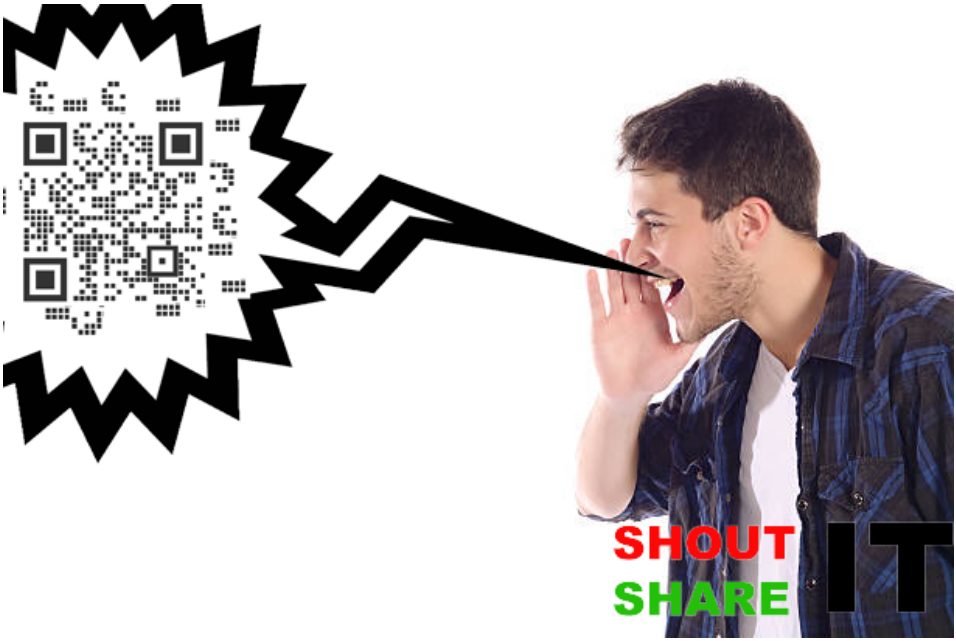
ТИХОН ПОЛНЕР

Лев Толстой
и его жена


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Собрание сочинений, дневников и писем Льва Толстого составляет добрую сотню объемистых томов, а литература о его жизни и творчестве и вовсе представляется безбрежной. На этом фоне книга Тихона Полнера выделяется своей взвешенностью, автор не навязывает читателю своих мнений, не делает никаких выводов, но ему удалось очень плотно и ясно показать путь духовного развития, религиозные и душевные метания великого писателя, неразрывно переплетенные с обстоятельствами его земного существования после того, как им были созданы гениальные произведения русской и мировой литературы. Сквозь ровную и неяркую словесную ткань этой книги читатель удивительным образом ощущает колоссальную духовную энергию, которой был наделен Лев Толстой, сопоставимую разве что с цепной реакцией в ядерных материалах и приводящую к огромным разрушениям, когда она становится неуправляемой.

Пожалуй, у нас до сих пор не было подобной книги о Льве Толстом, которая бы так захватывала и держала читателя в напряжении вплоть до последней страницы и, надо думать, она послужит верой и правдой не одному поколению российских читателей.

- Тихон Иванович Полнер
  - Предисловие к русскому изданию
  - Предисловие к немецкому изданию
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая

Тихон Иванович Полнер
Лев Толстой и его жена
История одной любви

Предисловие к русскому изданию

Творения Толстого теснейшим образом связаны с его интимной жизнью. Это утверждение относится не только к беллетристике. Оно всецело подтверждается внимательным рассмотрением философских, религиозных и политических работ великого автора.

Говорят: наслаждайтесь произведениями искусства и оставьте в покое личность автора. Даже и это не верно. Часто биографические изыскания углубляют понимание произведений искусства. «Оставить в покое» личность проповедника и пророка — уже совершенно невозможно. И не потому только, что слова без дел не убеждают. Важно, что характер самой проповеди, ее содержание, противоречия, эволюция воззрений бывают подчас необъяснимы без тщательного исследования интимной жизни проповедника.

К такому убеждению я неизбежно склонялся каждый раз, когда пытался проследить фазы развития Толстого.

Но приходилось останавливаться. Исследованию семейных отношений Толстого, конечно, не было места ни при жизни его, ни над его свежей могилой, ни при жизни гр. Софьи Андреевны. Да и опубликованных материалов казалось недостаточно.

Теперь обстоятельства изменились. За последние годы появилось в печати довольно много статей и книг, затрагивающих прямо или косвенно семейную жизнь Толстого. В примечании я указываю важнейшие работы этого рода.

Большинство авторов (особенно В. Г. Чертков и А. Б. Гольденвейзер) относятся крайне сурово к памяти гр. Софьи Андреевны. Их обвинения — скажу прямо — я считаю несправедливыми.

Сама верная подруга великого писателя заранее учитывала нарекания «толстовцев». Свое предисловие к изданию «Письма гр. Л. Н. Толстого к жене» (Москва 1913 г.) она кончает трогательными словами: «Побудило меня напечатать эти письма еще и то, что после моей смерти, которая по всей вероятности близка, будут по обыкновению ошибочно судить и описывать мои отношения к мужу и его ко мне. Так пусть уж интересуются и судят по живым и правдивым источникам, а не по догадкам, пересудам и вымыслам. И пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека.»

И все-таки в мою задачу вовсе не входят ни реабилитация

памяти гр. Софьи Андреевны, ни установление виновных в трагедии жизни Толстого. Я сознательно не углубляюсь во многие опубликованные подробности. Деликатной темы супружеских отношений я касаюсь лишь постольку, поскольку это необходимо для понимания творений Толстого и в особенности — эволюции идей его проповеди.

При этом я стараюсь быть беспристрастным.

Тихон Полнер,
Париж, 1928

Предисловие к немецкому изданию

Среди приветствий, полученных Толстым в юбилейные дни 1908 года, был газетный лист с иллюстрацией: по полю, слегка занесенному снегом, идет странник. На нем старая, подпоясанная солдатская шинель. На голове вязаная шапка монастырского типа. За плечами мешок. Правой рукой он опирается на высокую палку. Длинная седая растительность обрамляет лицо. Громадный лоб изрыт «геологическими переворотами». Из-под нависших седых бровей глядят на зрителя острые, всепроникающие глаза. В суровом страннике нельзя не узнать Толстого, хотя изображение лишено того мягкого выражения, той чувствительности, доброты, тех слез умиления, которыми часто озарялось лицо великого писателя в последние годы его жизни.

Толстой с глубоким волнением смотрел на картину.

— Ах, если бы Лев Николаевич в самом деле был таким!.. — сказал он, наконец, со вздохом.

Но всю свою жизнь он был именно таким странником. Всю свою жизнь со страстным вниманием вглядывался он в самые важные вопросы человеческого существования. Он искренно искал на них ответа и, достигнув одного прибежища, недолго оставался на отдыхе, снимался с места и снова шел вперед и вперед в поисках истины. Это жадное искание истины объединяет всю его жизнь, все его произведения — литературные, философские, религиозные.

Как ветхозаветный пророк, он громил людские предрассудки, людскую глупость, людские грехи — всю нашу неустроенную, тяжелую, несправедливую жизнь. И этим он пленил сердца страдающего и ищущего человечества. Он был гениальным художником. Но для многих значение его не исчерпывалось наслаждением от чтения замечательных беллетристических творений. Он поднял с необычайною силою вопросы, которыми в наше время мучаются многие сердца. С бесстрашием пророка и величайшей энергией он напал на завоевания нашей цивилизации.

Он спрашивал:

— Машины, чтобы сделать что? Телеграфы, чтобы передавать что? Школы, университеты, академии, чтобы обучать чему? Собрания, чтобы обсуждать что? Книги, газеты, чтобы распространять сведения о чем? Железные дороги, чтобы ездить кому и куда? Собранные вместе и подчиненные одной власти миллионы людей для того, чтобы делать что? Больницы, врачи, аптеки для того, чтобы продолжать жизнь, а продолжать жизнь зачем?

И в условиях социального неравенства, ненависти и борьбы он

не находил удовлетворительных ответов на эти вопросы.

Культуру, науку, искусство для немногих, для избранных он возненавидел и преследовал бешеными сарказмами и пророческими проклятиями…

Его поклонники, многие его биографы думают, что он нашел и прописал целебные средства от констатированных им социальных недугов.

Едва ли. Чтобы убедиться в противном, нет необходимости разбирать детально и критиковать его учение.

Достаточно оставить его наедине с самим собою. Переходя от одних решений к другим, он сам беспощадно «сжигал все, чему поклонялся» ранее. И на смертном одре в Астапове уже холодеющими устами он шептал: «Искать, всегда искать…»

* * *

В предлагаемой книге я пытаюсь подойти к Толстому, не складывая молитвенно рук. Для меня он человек (правда, гениальный), которому не чуждо ничто человеческое. Опровергать его идеи я предоставляю ему самому. Смена фаз духовного развития Толстого переплетена (как и у всех людей) с обстоятельствами его интимной жизни. Вот отчего я взял фоном моего рассказа историю семейных отношений Толстого.

К тому же, тема эта — самостоятельно и с возможною полнотою — еще мало изучена.

У меня была возможность пользоваться для исследования не только печатными источниками. Я мог заглянуть в неизданные дневники Толстого и в рукописные воспоминания о нем.

Глава первая
Он

1

Трудно представить себе то возбуждение, которое охватило Россию в конце пятидесятых годов. В образованном обществе давно зрели либеральные воззрения. Тяжелая рука реакционного правительства Николая I, во имя мощи России, держала эти течения под спудом. Гонения на «красные» идеи особенно усилились в связи с революционным движением, прокатившимся по Европе в 1848 году. Но и само правительство понимало, что многие старые формы русской жизни уже не соответствуют ничьим интересам. Таково было, например, крепостное право. В глубокой тайне в петербургских канцеляриях медленно разрабатывались проекты реформ. На верхах царствовала, однако, столь великая самоуверенность, что чиновники, занятые этим, сами не верили в свое дело.

Самоуверенности положен был конец падением Севастополя. Война часто является экзаменом не только дипломатического искусства и боеспособности страны: она проверяет также всю правительственную систему и безжалостно разрушает у всех на глазах горделивые иллюзии.

Экзамена севастопольской кампании русское правительство не выдержало. Государственной мощи, ради которой принесено было столько жертв, — не оказалось. В обществе ходили упорные слухи о самоубийстве императора Николая, не пережившего крушения своей правительственной системы. С наследником престола связывались самые радужные надежды. Ученик поэта Жуковского, чувствительный, мягкий — он, казалось, был послан самим небом, чтобы залечить глубокие раны России, заставить забыть суровое правление отца и повести страну к возрождению.

Все, что с таким усилием сдерживалось в конце предыдущего царствования, всплыло теперь наружу. Брожение среди крепостных крестьян разрослось до небывалых размеров. Образованное общество после долгого, вынужденного молчания сразу перешло в наступление: плотина прорвалась, и целое море обличительной литературы хлынуло наружу. Со свойственным русским людям максимализмом ожесточенной критике подвергали все решительно. Вся жизнь подлежала немедленному пересмотру. Все было плохо. Все требовало неотложных реформ:

и крепостное право, и суд, и воспитание, и цензура, и местное управление; многие мечтали уже и о «завершении здания», т. е. о конституции. Для возникавших газет и журналов, казалось, не хватало названий. «Со всех сторон, — с сарказмом писал впоследствии Лев Толстой, — появились вопросы (как называли в 56 году все те стечения обстоятельств, в которых никто не мог добиться толку), явились вопросы кадетских корпусов, университетов, цензуры, изустного судопроизводства, финансовый, банковый, полицейский, эмансипационный и много других; все старались отыскивать еще новые вопросы, все пытались разрешать их; писали, читали, говорили, составляли проекты, все хотели исправить, уничтожить, переменить, и все россияне, как один человек, находились в неописанном восторге».

В экономической области страна ломала отжившие патриархальные устои и переходила в новые фазы развития. Словом, огромный котел кипел, и выбившаяся, наконец, наружу общественная жизнь блестела всеми цветами радуги: она должна была захватить каждого головокружительным темпом развития и необычайною сложностью.

2

В ноябре 1855 года в Петербурге появился молодой офицер, обращавший на себя общее внимание. Он прибыл военным курьером прямо из Севастополя и привез донесение о последней бомбардировке крепости. Молодой человек пользовался необыкновенным успехом в самых разнообразных слоях образованного общества. «Сильные мира сего, — писал он о себе впоследствии, — все искали его знакомства, жали ему руки, предлагали ему обеды, настоятельно приглашали его к себе…» Этот успех вызван был не военными подвигами: офицер состоял в очень маленьких чинах и, несмотря на свою храбрость, не имел случая совершить никаких особенных военных подвигов. Но в течение последних трех лет имя его не сходило со страниц лучших журналов того времени. Двадцати четырех лет от роду, служа в глуши Кавказа артиллерийским юнкером, он написал рассказ «Детство», начатый им еще в Москве. Рассказ этот, подписанный никому неведомыми инициалами, появился в сентябре 1852 года в распространенном журнале поэта Некрасова «Современнике». Пластичность образов, простота, теплота, искренность и необычайное ясновидение душевной жизни обворожили читателей. В 1853–1855 годах тот же автор напечатал рассказы: «Набег», «Отрочество», «Записки маркера», «Рубка леса»,

«Севастополь в декабре», «Севастополь в мае». Последние два произвели особенно сильное впечатление. На Севастополе сосредоточено было в то время всеобщее внимание. И над севастопольскими очерками, описывавшими русского солдата с небывалой в литературе простотою и правдою, плакала вся интеллигентная Россия — от царской семьи до рядовых обывателей. Публика уже знала имя новой восходящей звезды русской литературы. И слава графа Льва Толстого складывалась и росла с невероятною быстротою. Только что вступив на поприще литературного творчества, он уже не имел соперников. Известный романист и драматург Писемский, читая рассказы Толстого, мрачно говорил: «Этот офицеришка всех нас заклюет, хоть бросай перо…» Сухой и сдержанный редактор «Современника» (поэт Некрасов) писал Толстому в сентябре 1855 года: «Я не знаю писателя теперь, который бы так заставлял любить себя и так горячо сочувствовать, как тот, к которому пишу…» Тургенев с восторгом читал своим друзьям рассказы незнакомого автора…

Именно к Тургеневу прямо с дороги приехал Толстой и остановился у него на квартире. Оба искренно хотели сблизиться. Но — «стихии их были слишком различны».

Характеры действительно имели мало общего. Тургенев был на десять лет старше и в значительной степени уже пережил бури молодости. Мягкий, податливый на влияния (особенно женские), немного злоязычный, очень образованный, склонявшийся перед научными авторитетами и либеральными течениями Запада, — Тургенев верил в воспитательное значение политических учреждений и всецело сочувствовал намечавшимся реформам. Он любил популярность, искал успеха у молодежи и старался держаться на высоте последних слов литературной и научной моды. «Проклятые вопросы» человеческого существования не терзали неотступно его душу. Он был уверен, что «делает дело». Общественное служение его и всей группы либеральных литераторов, сплотившихся около «Современника», состояло, главным образом, в подготовке умов к сознательному отрицанию господствовавших в России порядков и к восприятию свободных европейских политических учреждений.

В литературное царство «Современника», как буря, ворвался пламенный Толстой, обвеянный огнем севастопольских батарей, с бесконечным числом накопившихся «вопросов», почти с органическою потребностью уяснить себе смысл жизни.

Политика не имела над ним никакой власти. В общественном круговороте тогдашней России он занят был всецело своей внутренней, необыкновенно сложной жизнью. На Кавказе, в Турции, в Севастополе он усиленно испытывал себя, жадно

вглядывался в проблемы войны и смерти, которые, как загадка сфинкса, тянули его к себе. Он увлекался не только военного, но всякою опасностью и часто, за карточным столом, отдаваясь внезапному азарту, оказывался на краю гибели. Также рисковал он в сношениях с женщинами, когда борьба со сладострастием прорывалась эксцессами страстной и могучей натуры. Он жаждал славы. Но никогда не стал бы он, как Тургенев, подделываться под вкусы публики. Стремительно и неудержимо он шел своей дорогой и покорял, завоевывал толпу своей оригинальностью. Все общепринятое, модное, «эпидемическое» — было ему ненавистно. Он хотел сам, своим умом дойти до всего и увлечь человечество за собою на путь своего прихотливого гения…

Некрасивое лицо Толстого с широким носом и толстыми губами освещалось лучистым взглядом светло-серых, глубоко сидящих, добрых, выразительных глаз. В сущности он был добрым и простодушным человеком. С простыми людьми он держался просто, чрезвычайно скромно и так игриво, что присутствие его обычно воодушевляло всех. В памяти товарищей-офицеров он остался навсегда весельчаком, юмористом, отличным наездником и силачом. С детьми он сходился в два слова, без всяких усилий умел занять их и привязать к себе. Его родственница, состоявшая при императорском дворе, рассказывает о бесконечных фарсах, которые проделывал Толстой, внося беспорядок и смущение в ее размеренную придворную жизнь.

Но по наивному замечанию одной современницы, Толстой соединял в себе нескольких людей и, часто менялся до неузнаваемости.

В среде литераторов «Современника» он быстро перешел на боевое положение. Здесь все было не по нем: неискренность, погоня за модными, демократическими веяниями, преклонение перед западными авторитетами.

В Петербурге Толстой вел беспорядочную, бурную личную жизнь и не только не скрывал своих похождений, но даже бравировал ими. И в то же время в душе его происходила сложная работа самонаблюдения, раскаяния, самосовершенствования, поисков истины в областях морали, религии и чистого искусства. С подобными деликатными вопросами невозможно было идти в среду модных литераторов. Он жаждал интимного, личного сближения, дружбы. Но Тургенев и другие писатели «Современника», высоко ценя талант Толстого и восхищаясь его произведениями, старались тем не менее удержаться на поверхности обычных светских отношений. Порывы Толстого, его борьба со всем общепризнанным, его парадоксы, заставляли

насторожиться. Приходилось постоянно опасаться неожиданных и весьма сокрушительных взрывов.

Уже на одном из первых товарищеских обедов «Современника» произошел маленький скандал. Толстого предупреждали, что в этой среде царит преклонение перед Жорж Зандом. Хозяйка (жена издателя «Современника») мечтала о «правах сердца» и «свободной любви». За обедом речь зашла о последних романах Жорж Занда. Толстой не удержался и во всеуслышание объявил, что таких женщин, как те, которых изображает Жорж Занд, если бы они существовали, следовало бы привязывать к позорной колеснице и возить на показ по улицам…

Как-то вечером в семье известного скульптора читали вслух запрещенные, но модные статьи знаменитого эмигранта Герцена. Впоследствии Толстой очень ценил произведения этого писателя. Но не то было в 1856 году. «Граф Толстой, — рассказывает современник, — вошел в гостиную во время чтения. Тихо став за кресло чтеца и дождавшись конца чтения, сперва мягко и сдержанно, а потом горячо и смело напал на Герцена и на общее тогда увлечение его сочинениями». Он говорил с такою искренностью и доказательностью, что в этом семействе навсегда пропала охота читать запрещенные заграничные памфлеты.

Иеремиады Толстого против Шекспира составляли в то время злобу дня в петербургских литературных кружках, преклонявшихся перед английским гением…

Но это только примеры. Толстой очень скоро перешел в явную и открытую «оппозицию всему общепринятому в области суждений».

Какое бы мнение не высказывалось, и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное и начать резаться на словах. Глядя, как он прислушивался, как всматривался в собеседника из глубины серых, глубоко запрятанных глаз, и как иронически сжимались его губы, можно было подумать, что он как бы заранее обдумывал не прямой ответ, но такое мнение, которое должно было озадачить, сразить своею неожиданностью собеседника.

Нелады с Тургеневым росли. Толстой скоро переехал от него на собственную квартиру. Но и после этого при встречах часто возникали чисто русские ожесточенные споры, кончавшиеся иногда весьма драматично.

— Я не позволю ему, — говорил с раздувающимися ноздрями Толстой после одной из таких схваток, — ничего делать мне на зло! Это вот он нарочно теперь ходит взад и вперед мимо меня и виляет своими демократическими ляшками!..

С одним из петербургских литераторов (Лонгиновым) дело

дошло почти до дуэли. Как-то у Некрасова играли в карты. Принесли письмо от Лонгинова. Некрасов, занятый игрой, просил Толстого распечатать и прочесть вслух письмо. Между прочим Лонгинов в довольно резких выражениях нападал на политическую отсталость и консервативные убеждения графа Толстого. Лев Николаевич промолчал, но, придя домой, немедленно послал Лонгинову вызов на дуэль.

По мнению Тургенева, Толстой никогда не верил в искренность людей. Всякое душевное движение казалось ему фальшью, и он имел привычку необыкновенно проницательным взглядом насквозь пронизывать человека, когда ему казалось, что тот фальшивит.

Толстой сам писал в своем дневнике (10/XI 1852 года): «Я невольно, говоря о чем бы то ни было, говорю глазами такие вещи, которые никому неприятно слышать, и мне самому совестно, что я говорю их».

3

«Оппозиция всему общепринятому», быть может, самая характерная черта Толстого. Она началась с пеленок. Первые воспоминания Толстого относятся к необыкновенно раннему возрасту. Он, спеленутый, лежит в полутьме и надсажается громким криком; ему хочется во что бы то ни стало выбиться из пеленок; над ним тревожно склонились кто-то двое; они сочувствуют, но не развязывают его. «Им кажется, что это нужно (т. е., чтобы я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым…». «Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны».

Спеленутый философ «знает» лучше двух любящих взрослых, что пеленать «не нужно» и всеми зависящими от него средствами протестует.

О детстве Толстого записано много рассказов близких ему людей. Все отмечают живость, прекрасное сердце, крайнюю чувствительность, но вместе с тем и постоянные, совершенно неожиданные выходки, которыми ребенок старался удивить «больших» и «сделать что-нибудь необыкновенное».

Его позднейшая жизнь полна эпизодами «борьбы с предрассудками», которые носят то комический, то драматический характер.

Вот, например, рассказ его старшего брата, графа Николая, записанный Фетом в 1858 году: «Левочка усердно ищет

сближения с сельским бытом и хозяйством, с которыми, как и все мы, до сих пор знаком поверхностно. Но уж не знаю, какое тут выйдет сближение: Левочка желает все захватить разом, не упуская ничего, даже гимнастики. И вот у него под окном кабинета устроен бар. Конечно, если отбросить предрассудки, с которыми он так враждует, он прав: гимнастика хозяйству не помешает; но староста смотрит на дело несколько иначе: «придешь, говорит, к барину за приказанием, а барин, зацепившись одной коленкой за жердь, висит в красной куртке головой вниз и раскачивается, волосы отвисли и мотаются, лицо кровью налилось, не то приказания слушать, не то на него дивиться»…

Зимой того же 1858 года он охотится на медведя. Расставляя по лесу охотников в шахматном порядке, им предлагают отоптать вокруг себя снег, чтобы оставить возможную свободу движения. Все это делают. Толстой протестует: «Вздор! В медведя надо стрелять, а не ратоборствовать с ним»… и он упрямо становится по пояс в снег, прислоняя запасное ружье к соседнему дереву. Неожиданно перед ним появляется громадная медведица… он стреляет раз, промахивается, стреляет второй раз в упор в пасть, но пуля застревает в зубах, и раненый зверь наваливается на него… отскочить в сторону из нерасчищенного снега нет возможности, медведь топчет и грызет его, и только счастливая случайность спасает ему жизнь.

Это гордое желание идти своими путями, опираться только на свой рассудок, не признавать ни в чем авторитетов и традиций было, как будто, прирождено Толстому. А в воспитании его совершенно отсутствовали элементы дисциплины. Он потерял мать на втором году жизни. Отец его скончался, когда мальчику было девять лет. Он рос в обществе любящих, но не выдающихся и не авторитетных для него женщин. Школьной дисциплины он не знал.

Подготовка к университету шла дома: к мальчикам приезжали учителя; за поведением следили гувернеры. Поступив в университет, Толстой должен был посещать лекции, сдавать зачеты и экзамены. Но даже эти обязанности казались ему невыносимыми, и со второго курса он бросил университет навсегда. В сущности он воспитывал себя сам и потому привык полагаться во всем только на себя. К наукам казенным он относился равнодушно и учился всегда плохо. Зато с ранних лет он много читал и еще более философствовал. В годы детства и отрочества он настойчиво пытался решать основные вопросы человеческого существования. В шестнадцать лет он разрушил свою религию и «вместо креста носил на шее медальон с

портретом Жан-Жака Руссо», к которому относился с обожанием. Почти ребенком он писал философские трактаты. И когда его тетрадки попадали в руки взрослых или товарищей, никто не хотел верить, что «Левочка» автор этих мудреных вещей. Больше всего его «хлопотливый ум» занят был вопросами нравственного самовоспитания или, как он говорил, «самосовершенствования». «Теперь, вспоминая то время, — писал впоследствии Лев Николаевич, — я вижу ясно, что вера моя — то, что кроме животных инстинктов, двигало моей жизнью — единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно, — я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю, — составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически всякими упражнениями, изощряя силу и ловкость, и всякими лишениями, приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше. Перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, Т. е. славнее, важнее, богаче других».

Примеры, которые были у него перед глазами, отнюдь не всегда поощряли к нравственному совершенствованию. «Мне не было внушено, — говорит он в другом месте, — никаких нравственных начал, — никаких, а кругом меня большие с уверенностью курили, пили, распутничали (в особенности распутничали), били людей и требовали от них труда. И многое дурное я делал, не желая делать, только из подражания большим».

Впрочем, соблазны шли не только от окружающих. Трудно представить себе индивидуальность, в которой голос природы, жажда личного счастья говорили бы сильнее. И не менее властно влекло его в то же время стремление к добру, к нравственному, к самосовершенствованию. Без удовлетворения этой его органической потребности для Толстого не было и не могло быть личного счастья. Обе стороны его сложной натуры (личные потребности в узком смысле слова и стремление к добру) находились в вечном конфликте. Едва ли кого-нибудь дразнило столько соблазнов. Путь к «добру» был прегражден для него не только страстною и могучею физической природой, но и необыкновенно гибким, парадоксальным умом, который, с

удивительной виртуозностью, служил в каждом данном случае его неудержимому стремлению к личному счастью. Личные потребности вели его бессознательно к заполнению общей формулы добра все новым и новым содержанием. При этом нет и следов малейшей неискренности, которую он больше всего на свете ненавидел — в себе и других.

4

Бросив университет, девятнадцатилетний Толстой уехал в деревню. Он рассчитывал в два года легко подготовиться дома к выпускному экзамену. Его манила также мысль руководить благосостоянием крестьян деревни Ясной Поляны, которую он получил около этого времени по разделу с братьями. Он полагал, что священная и прямая его обязанность заботиться о счастье семисот человек, за которых он должен будет отвечать Богу.

Устраивать «счастье» крепостных крестьян оказалось не так просто. Свои неудачи в этом деле Толстой описал впоследствии в рассказе «Утро помещика». Собственное сельское хозяйство тоже шло плохо и скоро показалось Толстому тяжелой обузой.

Уже осенью 1847 года он бежал из деревни и всем существом погрузился в соблазны Москвы. Он вел жизнь обычную для «золоченой молодежи» того времени: выезжал в свет, танцевал, ухаживал, занимался фехтованием и гимнастикой, ездил верхом в манеже, участвовал в кутежах, часто бывал у цыган, пением которых увлекался, играл в карты и много проигрывал… Такая жизнь не всегда удовлетворяла Толстого: он раскаивался, записывал в дневнике свои прегрешения, каялся, ехал на исправление в деревню… но скоро опять оказывался в водовороте страстей и соблазнов… Иногда он твердо решал, что «умозрением и философией жить нельзя, а надо жить положительно, то есть быть практическим человеком». Тогда он зачислялся на службу в какую-нибудь тульскую канцелярию. Или устремлялся в Петербург держать выпускной экзамен в университете. Но неожиданно для себя бросал экзамены и начинал хлопотать о поступлении юнкером в аристократический конно-гвардейский полк, чтобы идти в поход на Венгрию. Твердо решив оставаться в Петербурге «навеки», он вдруг уезжал в Ясную Поляну, потому что весна поманила его в деревню. Одно из подобных практических настроений толкнуло его даже на коммерческое предприятие: он снял в аренду почтовую станцию в Туле, но, к счастью, успел без большого убытка, вовремя отделаться от нее. Раз, провожая жениха сестры, он прыгнул к нему на ходу в

тарантас и не уехал с ним в Сибирь только потому, что забыл дома шапку…

Не все из этих похождений кончались благополучно. Небольшое состояние его таяло; иногда азартных проигрышей в карты нечем было платить. В одном характерном письме к брату Сергею он пишет (весною 1848 года): «Надо мне было поплатиться за свою свободу (некому было сечь — это главное несчастье) и философию, вот я и поплатился. Сделай милость, похлопочи, чтобы вывести меня из фальшивого и гадкого положения, в котором я теперь — без гроша денег и кругом должен».

Первый бурный период его жизни закончился 20 апреля 1851 года: Толстой вдруг решил «изгнать себя на Кавказ, чтобы бежать от долгов, а главное от привычек». Он уехал со старшим братом Николаем, который служил на Кавказе в артиллерии и весной 1851 года, по окончании отпуска, возвращался к своей батарее.

На Кавказе Лев Николаевич оставался почти два с половиною года (1851–1854). Свою жизнь там он описал в рассказах «Набег», «Рубка леса», «Встреча в отряде с московским знакомым», «Записки маркера» и особенно близко в «Казаках». Через полгода после приезда он поступил юнкером в артиллерию, участвовал в боях против горцев и не раз подвергался серьезной опасности. «Привычек», от которых он бежал из Москвы, не удалось избыть и на Кавказе: офицерская среда вынуждала участвовать в попойках, картежной игре. Азарт и здесь преследовал его, он проигрывал иногда в карты такие суммы, которые приходилось добывать с величайшими усилиями. Однажды, живя в Тифлисе, Толстой пристрастился к игре на биллиарде, решил во что бы то ни стало победить знаменитого местного маркера, сыграл с ним 1000 партий и чуть не лишился всего состояния.

В январе 1854 года он сдал офицерский экзамен и уехал в отпуск на родину, где и получил официальное уведомление о производстве в офицеры. Начиналась война с Турцией. Толстому захотелось видеть ее вблизи; пользуясь родственными связями, он добился назначения в Дунайскую армию и принял участие в осаде турецкой крепости Силистрии. Когда в войну вступили Англия и Франция, Толстой стал усиленно проситься в Севастополь, и главным образом «из патриотизма», как он писал брату Сергею. В Севастополе Лев Николаевич оставался почти год (ноябрь 1854 — ноябрь 1855) — то в окрестностях города, то в самых опасных его местах. Два раза он по собственному желанию волонтером участвовал в вылазках. В общем Толстой был хорошим офицером. Среди различных видов «славы», которой он настойчиво добивался в то время, была и «слава служебная, основанная на

пользе отечества». Большая часть его офицерской службы проходила в штабе, причем он старательно и отчетливо выполнял поручения. Но он не бежал и от строевой службы и не только не уклонялся от опасностей, но всячески искал их. Живя иной раз в ужасных условиях в строю, замерзая в холодных землянках, он писал военные проекты о штуцерных батальонах и о переформировании батарей. Всегда и везде заботился он о солдатах. В дневниках упрекал он себя в высокомерии, раздражительности, неуживчивости, а товарищи его, офицеры сохранили до конца жизни радостные воспоминания о совместной с ним боевой жизни. Среди почти общего грабежа казенных денег он «проповедывал офицерам возвращать в казну даже те остатки фуражных денег, когда офицерская лошадь не съест положенного ей по штату».

Но не на этом поприще ждала его слава. Он тяготился узаконенным бездействием, обществом офицеров, их интересами и привычками, которым невольно поддавалась его увлекающаяся натура. Он всегда стоял на голову выше окружающих. А между тем служебное положение создавалось для него весьма незавидное: в 26 лет он был еще только прапорщиком, и каждый мальчик, окончивший корпус, стоял или выше его, или наравне с ним. К тому же в глазах высшего начальства он скомпрометировал себя участием в составлении «севастопольских песен». Кружок офицеров собирался в Севастополе вокруг фортепиано, один играл, а другие сочиняли куплеты в духе русских «частушек», высмеивая генералов и их неудачные действия. Все эти песни приписывались Толстому, и в Петербурге в высших военных кругах утверждали даже, что Толстой не только сочинял, но и учил солдат петь все эти куплеты…

Мысль оставить военную службу приходила Толстому не раз еще на Кавказе и в Севастополе. Прибыв в Петербург, он окончательно решил для себя этот вопрос. Но до официального заключения мира нельзя было получить отставки. Оставаясь прикомандированным к одному из столичных артиллерийских учреждений, Лев Николаевич выхлопотал себе одиннадцатимесячный отпуск, который проводил в Москве, Петербурге и деревне. В конце 1856 года он снял, наконец, мундир и вскоре уехал за границу. В Париже и Швейцарии он довольно бурно провел около шести месяцев.

Ближайшие пять лет жизни Толстого полны кипучею и по-прежнему самой разнообразною деятельностью. Правда, блестящие литературные успехи наметили главный путь его жизни. Но «размашистая натура» не могла довольствоваться ролью писателя повестей и романов. Толстой жаждал и искал

более полной жизни. Между прочим деревня и сельское хозяйство снова потянули его к себе. Но в Ясной Поляне его встречало рабство, с которым он не мог примириться. Не по отвлеченным гуманитарным соображениям, которыми полны были либералы того времени… нет! модные идеи не имели над ним власти. Но он пробовал заботиться о благосостоянии своих «подданных», как называл крестьян, и потерпел горестные неудачи: даже доверия крестьян, взаимного понимания, общего языка не удалось добиться. Приходилось или мириться с нищетою и убожеством деревни, или снять с себя ответственность перед своей совестью за судьбы «подданных». К тому же вести хозяйство старыми методами в переходное время, когда крепостные нетерпеливо ждали свободы, оказывалось чрезвычайно трудным. Лев Николаевич не верил в мероприятия правительства. Он задумал сам, не откладывая дела, освободить своих крестьян с землей, но по возможности безобидно и для собственных имущественных интересов. После энергичных хлопот в правительственных сферах Петербурга, ему удалось найти приемлемую для казны комбинацию. Но все усилия разбились об упорное несогласие крестьян, которые мечтали к коронации Александра II получить от царя всю помещичью землю даром. Эта неудача охладила пыл Толстого к деревне, но он продолжал временами увлекаться сельским хозяйством, которое, в сущности, знал очень плохо. Его старший брат добродушно иронизировал: «Понравилось Левочке, как работник Юфан растопыривает руки при пахоте. И вот Юфан для него эмблема сельской силы, вроде Микулы Селяниновича. Он сам, широко расставляя локти, берется за соху и юфанствует». С сельскими работами Толстой всегда связывал много поэтических представлений. Но, бывало, в самый разгар увлечения хозяйством, он вдруг испытывал почти неодолимое отвращение к нему, писал в дневнике: «Хозяйство всею своей вонючей тяжестью навалилось на меня» и бежал от него в город — к литературе, светским развлечениям, занятиям музыкой.

Музыку любил он страстно и упорно добивался в юные годы солидных успехов в этой области. Он не только много работал на фортепьяно, но изучал теорию, писал ноты, даже пробовал композировать. Эти усилия не сделали из него настоящего музыканта, но музыка сохранила над ним власть навсегда.

Увлечения его поражали всех своей неожиданностью. Так однажды, занявшись лесными посадками в своем имении, он вдруг решил, что в широком лесонасаждении — счастливая будущность России. Он разработал целый план лесонасаждений и бросился с ним в Петербург хлопотать в министерствах о немедленном проведении своих идей в государственных

масштабах. Миссия эта, конечно, успеха не имела. Но когда Тургенев в разгаре спора добивался как-то узнать: в чем же, наконец, видит Толстой свою настоящую специальность, — тот отвечал категорически и с полною уверенностью: «Я — лесовод». Рассказывая об этом своим друзьям, Тургенев писал: «Боюсь, как бы он этими прыжками не вывихнул хребта своему таланту».

В 1857 году за границей, читая деревенские рассказы Бертольда Ауэрбаха, Толстой вдруг остановился на мысли отдаться школьному делу в деревне. В Ясной Поляне была небольшая школа, основанная Львом Николаевичем еще в конце сороковых годов. Но учил в ней старый крепостной человек, которого постоянно приходилось удерживать от желания посечь детей для их же пользы. Молодой Толстой, когда бывал в деревне, вносил в школу эту много ласки, жизни и шумного веселья: он любил детей и охотно возился с ними. Но при частых отлучках Льва Николаевича школа хирела на руках старого «педагога».

В июле 1857 года Толстой записал в дневнике: «Главное: сильно, явно пришло мне в голову — завести у себя школу для всего околотка и целая деятельность в этом роде». Только через два года (осенью 1859 года) ему удалось вплотную подойти к осуществлению этого плана. Как во всех своих начинаниях, он страстно, всем существом ушел в школьное дело. Три года жизни почти целиком отдал он крестьянским детям. Менее всего походила эта работа на размеренную, правильно поставленную педагогическую деятельность. Толстой сам писал, что «страстно влюблен» в свою школу. И также страстно были влюблены, под его влиянием, все те молодые люди, которых он привлек к делу. Конечно, он начал с того, что отказался от всякой традиции в этой области, отверг всякие определенные методы обучения. Он должен был сам постигнуть душу крестьянского ребенка и, устраняя всякую дисциплину и всякое наказание, дать самим ученикам возможность научить своего учителя педагогии. Школа была вольная, каждый учился чему, как и сколько хотел. Учитель считал своей обязанностью только облегчать детские искания, строго индивидуализируя свои подходы к ребенку и любовно нащупывая наилучшие для каждого данного случая методы помощи. Успехи этих вольных толстовских школ — без принуждения, без наказания, без программы и без правил — были поразительны. Дети учились целый день, и их почти невозможно было выгнать из школы.

Через 50 лет один старый яснополянский крестьянин (Василий Морозов) рассказывал: «…Часы проходили у нас минутами. Если жить в таком веселье, не увидишь, как и век пройдет… В таких радостях и весельях, в скорых успехах в учении

мы так сблизились с Львом Николаевичем, как вар с дратвой. Мы страдали без Льва Николаевича, а Лев Николаевич без нас. Мы были неотлучны от Льва Николаевича и нас разделяла одна глубокая ночь. День же мы проводили в школе, а вечер у нас в играх проходит, до полночи сидим у него на террасе. Он рассказывает какую-нибудь историю, рассказывает про войну, как его тетушку в Москве повар зарезал, как он был на охоте, как его было медведь заел, и показывал нам около глаза метину, как медведь его лапой царапнул. Болтовне не было у нас конца. Рассказывали и мы ему страсти: про колдунов, про лесных чертей… Он рассказывал нам сказки страшные и смешные, пел песни, прикладывая слова к нам… Лев Николаевич вообще был ужасный-ужасный шутник, не пропустит случая, чтобы как-нибудь всегда не пошутить, не посмеяться. Называл он нас разными прозвищами…»

С таким учителем, конечно, всякая школа должна была идти хорошо. Другой вопрос — много ли таких учителей можно было найти на земном шаре?

Нужно сказать, впрочем, что пробивая и в этой области свои собственные, новые пути, Толстой стремился возможно подробнее ознакомиться с установившеюся практикой дела. Он много читал по педагогике (особенно немецких авторов) и, попав в 1860–1861 году снова за границу, внимательно присматривался в Германии и Франции к практической постановке школьного дела. О его наблюдениях в Германии, встречах и беседах с педагогами и учеными довольно подробно рассказал немецкой публике Рафаэль Левенфельд в своей биографии Толстого.

Но ни русская, ни заграничная школа, ни теоретические воззрения ученых педагогов не удовлетворили Толстого. Чужие взгляды и мысли (во всякой области) служили ему лишь отправными пунктами для самостоятельной умственной работы. Почти всегда это был лишь материал для опровержения. И ему мало сказать при этом просто «нет»: он должен прибавить: «не может быть» — «нет, и не может быть»; он говорит: «этого не только никогда не было, но и не могло быть». В каждой своей мысли он усаживается как в крепости, и никакие усилия противника уже не могут выбить его из занятых позиций. Но проходит время, являются новые мысли, столь же гордые, непоколебимые, непреклонные, и тогда старые уступают им место без боя и исчезают бесследно.

До какой степени увлекался Толстой, можно понять при чтении, например, его статьи: «Кому у кого учиться писать: крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?» После урока, на котором он учил детей писать сочинения,

Толстой говорит: «Я долго не мог дать себе отчета в том впечатлении, которое я испытал… На другой день я еще не верил тому, что испытал вчера. Мне казалось столь странным, что крестьянский полуграмотный мальчик вдруг проявляет такую сознательную силу художника, какой на всей своей необъятной высоте развития не может достичь Гёте. Мне казалось столь странным и оскорбительным, что я, автор «Детства», заслуживший некоторый успех и признание художественного таланта от русской образованной публики, — что я в деле художества не только не могу указать или помочь 11-летнему Семке и Федьке; а что едва-едва, — и то только в счастливую минуту раздражения, — в состоянии следить за ними и понимать их».

Эта удивительная статья была напечатана в педагогическом журнале «Ясная Поляна», который издавался Толстым в 1862 году. На страницах своего скромного издания он делился с публикой школьным опытом и, как всегда, поднимал в связи с этим самые основные вопросы человеческого существования.

19 февраля 1861 года русские крестьяне были освобождены от крепостной зависимости. Предстояло наделить их землею, которую они должны были получить из имений своих прежних владельцев. На практике наделение землею требовало авторитетных посредников между помещиками и крестьянами. Создан был институт «мировых посредников», которые в это переходное время исполняли также функции мировых судей. Толстой был за границей. Тульский губернатор решил привлечь и его к делу. При общих почти протестах помещиков, которые не мирились с известным в их среде народолюбием Льва Николаевича, правительство настояло на своем выборе, а Толстой, зная о протестах дворянства, принял назначение. «Я не посмел отказаться, — писал он, — перед своей совестью и ввиду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники».

В мае 1861 года он вступил в должность и в течение почти года вел отчаянную борьбу с помещиками, защищая интересы крестьян.

Решения его систематически отменялись уездным съездом посредников; он получал множество писем с угрозами всякого рода: его собирались и побить, и застрелить на дуэли; на него писались доносы.

Вся эта бурная деятельность была совершенно во вкусе подвижной натуры Толстого. В начале этого периода (в октябре 1857 года) он писал своему другу и родственнице-фрейлине императорского двора Александре Толстой: «Вечная тревога,

труд, борьба, лишения — это необходимые условия, из которых не должен сметь думать выйти хоть на секунду ни один человек. Только честная тревога, борьба и труд, основанные на любви, есть то, что называют счастьем. Да что счастье — глупое слово; не счастье, а хорошо; а бесчестная тревога, основанная на любви к себе — это несчастье… Мне смешно вспомнить, как я думывал и как Вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок, в котором спокойно, без ошибок, без раскаяния, без путаницы жить себе потихоньку и делать не торопясь, аккуратно все только хорошее. Смешно! Нельзя, бабушка. Все равно, как нельзя, не двигаясь, не делая моциона, быть здоровым… Чтоб жить честно, надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость. От этого-то дурная сторона нашей души и желает спокойствия, не предчувствуя, что достижение его сопряжено с потерей всего, что есть в нас прекрасного, не человеческого, а оттуда».

Прожив 80 лет и перечитывая это письмо, Толстой говорил, что в такой жизненной программе он не может изменить ничего. Но к 1862 году он устал.

Сельское хозяйство не шло. Литературная репутация сильно упала, несмотря на то, что за четыре года (1856–1859) он напечатал ряд великолепных рассказов. В 1856 году: «Севастополь в августе», «Метель», «Два гусара», «Утро помещика», «Встреча в отряде с московским знакомым»; в 1857 году: «Юность», «Люцерн», в 1858 году «Альберт»; в 1859 году: «Три смерти» и роман «Семейное счастье». Эти чудесные вещи уже не вызывали сенсации. Русское общество кипело в котле возрождения. Критика и публика требовали обличительной литературы, гражданских мотивов. Чистая поэзия, оторванная от злоб дня, оставалась в тени. Болезненно ощущая это падение своей репутации, Толстой перестал даже выступать в печати и на уговоры друзей отвечал, что отныне решил сделаться «потихонечку, про себя литератором».

Общение с крестьянскими детьми доставляло непосредственное удовольствие. Но запросы к своей школе Толстой предъявлял слишком большие. «Я говорил себе, — писал он позднее, — что прогресс в некоторых явлениях своих совершается неправильно, и что вот надо отнестись к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят». «Первобытные люди» наслаждались общением с гениальным человеком и за постоянную ласку платили ему нежною любовью,

но увы! — они не могли дать ответа, которого он добивался: истинный путь прогресса человечества, — и для крестьянских детей, и для самого Толстого по-прежнему оставался загадкой.

Журнал, в котором он задорно и ребром ставил основные вопросы педагогики, встречен был холодно и с недоумением. Никто не спорил с Толстым, но почти никто и не заинтересовался его педагогическими новшествами. Многое было в них гениально и через 50 лет привлекло к себе внимание педагогов в Америке и России. Но в начале шестидесятых годов большинство смотрело на журнал, как на барскую затею эксцентричного дилетанта. «Ясная Поляна» имела мало подписчиков, просуществовала всего год и принесла Толстому 3000 рублей убытка.

Посредничество, вследствие все возраставшей оппозиции помещиков, становилось невыносимым — тем более, что формальная, канцелярская сторона деятельности Толстого (к ней он относился с недостаточным вниманием) — давала часто поводы к справедливым нападкам.

Помимо всех этих неудач судьба послала в то время Толстому два тяжелых испытания.

20-го сентября 1860 года на юге Франции (в Гиере) скончался от чахотки граф Николай Толстой. В течение месяца из часа в час Лев Николаевич следил за мучительным угасанием брата. Этого человека он «любил и уважал положительно больше всех на свете». И вот этот «умный, добрый, серьезный человек заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории, — пишет Лев Толстой, — ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания…» Толстой не верил в личную будущую жизнь, и для него граф Николай исчез навсегда, «как сгоревшее дерево».

Проблема смерти остро, болезненно и неотступно стала перед Львом Толстым. Все окружающее поблекло. «К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожеством, нулем для себя…» Аппетит к жизни пропал. Временно Лев Николаевич забыл даже о любимой яснополянской школе. На родину не тянуло.

— Не все ли равно, где доживать жизнь? — говорил он. — Тут я живу, тут могу и жить. — О литературе не хотелось и думать. Он весь как бы застыл от мрачного и горестного раздумья.

— Уж ежели он ничего не нашел, за что ухватиться, что же я найду? Еще меньше…

Граф Николай Толстой был, действительно, прелестным, выдающимся человеком, добрым, слегка насмешливым, в жизни

своей осуществившим, по словам его приятелей, все, что проповедывал впоследствии Лев Николаевич. В Николае Толстом абсолютно не было стремления к славе, тщеславия и, хотя он обладал исключительным талантом рассказчика, унаследованным от матери, он почти ничего не писал, ограничиваясь литературными советами младшему брату. Тургенев уверял, что у Николая Толстого «не хватало только недостатков, которые нужны, чтобы быть большим писателем».

С раннего детства Николай Толстой оказывал огромное влияние на Льва Николаевича. Влияние это можно охарактеризовать, как христианское или вернее гуманитарное. Еще ребенком он увлекал братьев в область фантастических вымыслов, в которых фигурировали «любовно жмущиеся друг к другу муравейные (моравские) братья» и знаменитая зеленая палочка, на которой написана «главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, и были бы постоянно счастливы…»

Мягкий, деликатный, нежный образ его умного и доброго старшего брата олицетворял для него «добро», христианские влечения, самопожертвование… И понятно, каким ударом оказалась для него преждевременная и мучительная смерть именно этого кроткого человека…

Но через несколько месяцев Толстой мог уже вернуться к своим жизненным интересам. Сначала его развлекли занятия с детьми сестры, которая жила в Гиере. Потом он приступил снова к подготовке педагогических статей для будущего журнала. Это привело его к продолжению изучения постановки школьного дела во Франции, Лондоне и Германии. И, наконец, он уехал на родину, в Ясную Поляну, где ждала его школа и новые заботы по посредничеству. Рана мало-помалу зарубцевалась. Видение смерти на время ушло в подсознательную область. Но первый удар радости жизни был нанесен, и последствия его дали себя знать позднее.

Вторым испытанием (конечно, гораздо менее тяжким) была окончательная ссора с Тургеневым.

Отношения их оставались неопределенными и переменчивыми. Они виделись за границей (в 1857 году), проводили целые дни вместе, но оба боялись переходить некоторые границы сближения. В дневнике Толстой то сожалел Тургенева, то отмечал приятно проведенный с ним день, то глухо негодовал на него. Помимо расхождения во взглядах и глубокой разницы «стихий» обоих писателей, между ними, по-видимому, легла еще одна тень. Сестра Льва Николаевича, графиня Мария Николаевна Толстая была несчастлива в семейной жизни. В 1857

году она окончательно разошлась с мужем. Тургенев, ее давнишний знакомый, несмотря на близость к Виардо, не мог отказать себе в удовольствии некоторого кокетства перед умной графиней, чрезвычайно ценившей его общество. Эти отношения пугали Толстого и определенно не нравились ему.

И все же, временами обоих писателей тянуло друг к другу. Так было и весною 1861 года. Тургенев жил в Спасском — своем Орловском имении — и кончал отделку своего лучшего романа («Отцы и дети»). Толстой заехал за Тургеневым, чтобы вместе отправиться к общему приятелю Фету. Свидание в Спасском протекало вполне мирно. За прекрасным обедом Тургенев с некоторым волнением говорил о только что конченном романе. Толстой выразил желание прочесть рукопись. После обеда хозяин заботливо устроил в гостиной подходящую обстановку: все мухи были изгнаны, к огромному дивану придвинут столик с рукописью романа, курительными принадлежностями, любимыми напитками. Тургенев, наладив все это, на цыпочках удалился из комнаты, бережно притворив дверь, чтобы ничто не могло отвлечь внимания гостя…

В полной тишине Толстой принялся за чтение. Но скоро глаза его стали смыкаться и незаметно для себя он… заснул.

Вдруг точно что-то толкнуло его. Он проснулся и увидел спину Тургенева, который выходил из комнаты.

В дальнейшем о романе не было произнесено ни слова.

Наружно в мире они приехали к Фету. И здесь на другой день утром за чайным столом разыгралась финальная сцена их отношений.

Тургенев рассказывал про воспитание своей дочери.

Толстой сделал несколько неодобрительных замечаний.

— Я вас прошу не говорить так, — воскликнул Тургенев с раздувающимися ноздрями.

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден? Тургенев побледнел.

— Если вы не замолчите, — крикнул он, — я дам вам в рожу!.. Схватившись за голову и шатаясь, он быстро вышел из комнаты. Овладев собой, он вернулся и принес хозяйке извинения.

Толстой промолчал, сейчас же уехал и с первой почтовой станции послал Тургеневу требование немедленного формального извинения или поединка. При этом он не желал выходить на дуэль «пошлым образом» — с секундантами, доктором и шампанским; он звал Тургенева выехать на опушку леса с заряженными ружьями и стреляться без свидетелей, «по-настоящему».

Тургенев извинился. Но писатели расстались на 17 лет.

Все эти неприятности и огорчения, в конце концов, тяжело отразились на здоровье Толстого. Летом 1861 года он начал кашлять с кровью. Призрак чахотки и смерти преследовал его. Врачи потребовали полного покоя и лечения кумысом в татарских степях. Но только весною следующего года Лев Николаевич мог последовать их совету. Он отказался от посредничества, приостановил выход журнала, передал школу помощникам и, взяв с собой двух крестьянских мальчиков (любимых учеников), уехал лечиться в Самару.

5

Влюблялся ли Толстой? В 1856 году он писал: «Я говорю не о любви молодого мужчины к молодой девице и наоборот, — я боюсь этих нежностей, был так несчастлив в жизни, что никогда не видал в этом роде любви ни одной искры правды, а только ложь, в которой чувственность, супружеские отношения, деньги, желание связать или развязать себе руки до того запутывали самое чувство, что ничего разобрать нельзя было».

Это — замечания Николая Иртеньева в «Юности». Того самого, который рассказал в «Детстве» свою любовь к маленькой Сонечке Валахиной и первые моменты увлечения княжной Нехлюдовой (в «Юности»). Существуют свидетельства самого Толстого, что картинки эти списаны с натуры. В детские годы он сильно увлекался маленькой Сонечкой Калошиной, а в юношеские — сестрой своего университетского друга — Александрой Алексеевной Дьяковой. В 1858–1859 годах в московском свете он снова встретил Александру Алексеевну, которая была уже замужем — за «прекрасным человеком» князем Андреем Оболенским. С большой силой в Толстом снова вспыхнуло прежнее увлечение, но княгиня; чувствуя опасность сближения с этим интересным человеком, забрала детей и переехала в Петербург.

Юношеских увлечений в Казани, где учился Толстой, было несколько. Самым сильным он считал любовь к Зинаиде Молоствовой. С этой особой — очень одаренной и привлекательной — ой встретился снова в 1851 году, когда ехал с братом на Кавказ, и посвятил ей поэтическую, прочувствованную страничку дневника. Сильное влечение наметилось с обеих сторон, и объяснение не произошло только по случайным обстоятельствам.

На Кавказе Толстой влюбился в казачку. Хотя фабула

рассказа «Казаки», как он задуман был Львом Николаевичем (в двух частях), имеет в виду события, случившиеся с другим лицом, но самая любовь Дмитрия Оленина к Марианне воспроизводит, по свидетельству автора, его собственные чувства к молодой казачке.

Ничто, быть может, не было столь постоянною и столь заветною мечтою Толстого, как собственная семья — брак, дети. Его дневники и интимные письма переполнены этим вопросом. Но ему трудно было найти себе подходящую подругу жизни. К девушкам, с которыми встречался, он предъявлял весьма высокие требования по части ума, простоты, искренности, красоты. Вместе с тем (и прежде всего) его жена должна быть здоровая и сильная мать его детей, способная сама кормить и воспитывать. На все обязана она смотреть глазами мужа, во всем быть его помощницей. Обладая светским лоском, она обязана забыть свет, поселиться с мужем в деревне и целиком посвятить себя семье.

При его исключительной проницательности только сильная страсть могла заставить его поверить, что он встретил, наконец, олицетворение такого идеала.

С годами он сознательно шел на уступки. Такой именно смысл имели, например, его отношения к Валерии Арсеньевой. Девушка была сиротою и вместе с младшей сестрою жила под надзором преданной гувернантки в поместье Судакове, в пяти верстах от Ясной Поляны. Семья Толстых хорошо знала родителей Валерии Арсеньевой. Девочки бывали в Ясной Поляне. В 1856 году Лев Николаевич часто посещал Судаково. У гувернантки (M-lle Vergani) создался план женить его на Валерии. Девушка, видимо, шла этому навстречу. Она, правда, весьма склонна была к нарядам, светским развлечениям и мечтала о флигель-адъютанте, но и граф Толстой казался ей все-таки подходящей партией. В конце октября Лев Николаевич не удержался и показал Валерии страничку дневника, где было написано: «я ее люблю». Конечно, с этого момента его считали женихом. Но Толстой колебался, сомневался, думал, то увлекался, то охладевал и, наконец, решил испытать свое чувство двухмесячной разлукой. По выражению своей тетушки, которая тоже жаждала этого брака, он поехал неожиданно «вместо церкви, в Петербург». Последовала длинная переписка. Издали Валерия Арсеньева менее нравилась Толстому. Он признался себе, что не столько любил сам, сколько старался возбудить любовь к себе. Наступило охлаждение, о котором Лев Николаевич прямо и решительно написал, наконец, в Судаково. Близкие Валерии Арсеньевой и даже тетушка Толстого осыпали его упреками. Но он слишком долго испытывал себя и, в конце концов, не мог

поступить иначе. К счастью для него и для самой барышни, она впоследствии вышла замуж и имела четырех детей.

Со своими стремлениями к браку Толстой пережил большие соблазны в Швейцарии весною и летом 1857 года. Здесь он встретился и впервые близко сошелся со своими дальними родственницами — графинями Елизаветой и Александрой Толстыми. Обе служили при дворе великой княгини Марии Александровны. Александра Толстая обладала приятной наружностью и великолепным голосом, над которым много работала. Прямота, искренность, горячее сердце, постоянное стремление к нравственному самоанализу и совершенствованию делали духовный ее облик чрезвычайно привлекательным. При весьма тонком, изящном уме она была очень религиозна — в строго православном духе. Придворная, светская сдержанность не мешала ей ценить по достоинству буйного племянника, постоянно склонного ко всевозможным неожиданностям. В завязавшейся между ними нежной дружбе Толстой немного кокетничал парадоксальным умом и скептицизмом в религиозной области. Милую «бабушку» он искренно считал на целую голову выше всех женщин, с которыми когда-либо встречался. Они разошлись впоследствии на почве религиозных несогласий. Но даже в год своей смерти Лев Николаевич, перечитывая долголетнюю переписку с графиней Толстой, говорил окружающим: «как в темном коридоре бывает свет из-под какой-нибудь двери, так, когда я оглядываюсь на свою долгую, темную жизнь, воспоминание об Alexandrine — всегда светлая полоса». В поэтической обстановке швейцарской весны, на берегу Женевского озера произошло это сближение и, казалось, оно должно было пойти дальше простой дружбы. Но… графиня была старше Толстого на 11 лет; на ее милом, одушевленном лице он подметил первые морщинки… и не раз в дневнике, восторгаясь своей родственницей, он с грустью восклицал: «Если бы она была на десять лет моложе!..» Они остались только друзьями.

В 1859 году, ухаживая в московском свете за несколькими барышнями, он решился, наконец, сделать одной из них (княжне Львовой) предложение, но получил отказ. Его жена уверяла впоследствии, что физически он был в те годы очень непривлекателен, и «лицо у него было страстное, беспокойное и задорное». Другие девушки, за которыми он ухаживал, находили, что общение с ним «интересно, но тяжело». Очевидно, его исключительно сложная духовная организация и редкая проницательность постоянно держали собеседниц в напряженном состоянии…

Так проходила его молодость. Он подчеркивал себе первые

признаки надвигавшейся старости и уже почти готов был отказаться от семейного счастья, о котором так долго и нежно мечтал.

Глава вторая
Она

1

Лет шестьдесят пять назад Москва походила еще на большую деревню. Жили в примитивных условиях, но широко и вольно, не чуждаясь друг друга. Здесь не было тех перегородок, которыми «свет» Петербурга отделял себя от остального человечества. Средние и высшие слои помещиков и чиновников — часто и «без чинов» посещали друг друга. В таких условиях даже скромная семья доктора Берса могла пользоваться всеобщим признанием. Доктор служил в московском дворцовом ведомстве и потому занимал хорошую казенную квартиру в Кремле. Он держал лошадей и человек 10 прислуги. Кроме жалованья, он зарабатывал довольно много обширною практикой, хотя, кажется, никогда не считался блестящим врачом. На жизнь хватало; экономии не оставалось. Андрей Евстафьевич Берс был лютеранином, немецкого происхождения. До генеральских чинов дослужился он только в 1864 году, но уже в половине сороковых годов получил за выслугу дворянство. В 1842 году, тридцати четырех лет от роду, он женился на шестнадцатилетней Любочке Иславиной. Происхождение молодой девушки заслуживает внимания. По матери она была внучкой графа Завадовского — знаменитого любимца Екатерины II и Александра I. Графиня Софья Петровна, старшая дочь вельможи, очень рано была выдана замуж за князя Козловского. Брак оказался несчастным. Супруги скоро разошлись, и молодая графиня увлеклась Александром Михайловичем Исленьевым, с которым провела 15 лет жизни и оставила ему, умирая, шестерых детей — трех мальчиков и трех девочек. Добиться развода с кн. Козловским не удалось. Несмотря на все хлопоты и связи, оказалось невозможным усыновить детей, и они получили фамилию Иславиных. Семья жила безвыездно в селе Красном Тульской губернии, в 35 верстах от Ясной Поляны. Исленьев был приятелем графа Николая Ильича Толстого (отца великого писателя). Семьи дружили и по неделям гостили то в Красном, то в Ясной Поляне. Рассказывают, что девятилетний Лев Толстой был неравнодушен к одиннадцатилетней Любочке Иславиной и однажды, ревнуя, столкнул ее с лестницы, так что девочка некоторое время хромала. Задумав написать «Детство», «Отрочество» и «Юность», Толстой решил воспроизвести под

именем Иртеньевых — семью своих приятелей и лишь постепенно, в ходе работы, перемешал свои собственные переживания и некоторые картины своего детства с историей Исленьевых.

Любовь Александровна Берс подарила мужу тринадцать человек детей, из которых восемь остались в живых. Три девочки и мальчик были погодками; затем с некоторыми промежутками детская наполнилась еще четырьмя мальчиками. К 1862-му году старшей дочери (Лизе) было уже 19 лет, Софье — 18 и Татьяне — 16. Девочки воспитывались дома. Кроме гувернанток (немок и француженок), их классную комнату посещали довольно регулярно учителя. Барышни вьщерживались в старых традициях. Но время было переходное и девиц нельзя было охранить вполне от новых, модных идей. В автобиографии Софья Андреевна пишет: «Наукам и русскому языку учили студенты. Один из них старался по-своему меня развивать и внушать мне крайний материализм; приносил мне читать Бюхнера и Фейербаха, внушал, что Бога никакого нет и что религия есть устарелый предрассудок. Сначала мне понравилась простота истолкований об атомах и сведение всего в мире к их соотношениям. Но вскоре я затосковала без привычной православной веры и церкви, и навсегда отреклась от материализма». Впрочем, «Отцы и дети» Тургенева, только что вышедшие тогда в свет, и в семье Берсов произвели большое впечатление, и нигилист Базаров даже привлек к себе сочувственное внимание барышен. Девушкам внушали, что им предстоит самим зарабатывать свой хлеб. Они должны были учить маленьких братьев, шить, вышивать, хозяйничать и готовиться к официальному экзамену на диплом домашней учительницы. Семейные отношения родителей не были образцовыми, но не отравляли существования детей. Доктор Берс, при всем своем добродушии, обладал неровным характером и неожиданными вспышками гнева подчас приводил домашних в замешательство. Но всем правила выдержанная, спокойная, даже холодная на вид Любовь Александровна, которая умела парировать выходки мужа. Через два года после женитьбы Лев Толстой в письме к жене дал такую характеристику родных Софьи Андреевны. «Есть Берсы черные: Любовь Александровна, ты, Таня, Петя; и белые — остальные. У черных ум спит, — они могут, но не хотят, и от этого у них уверенность, иногда не кстати, и такт. А спит у них ум оттого, что они сильно любят; а еще и оттого, что родоначальница черных Берсов была не развита, т. е. Любовь Александровна. У белых же Берсов участие большое к умственным интересам, но ум слабый и мелкий…» На фоне этой общей, весьма удачной характеристики выделяются далее

индивидуальные особенности трех сестер. Старшая (Лиза) — красивая девушка высокого роста, с правильными чертами лица и серьезными, выразительными глазами — была холодна, мало общительна, спокойна и не проявляла особенной жизненной энергии. К семейным будничным заботам относилась она с легким пренебрежением. Маленькие дети, их кормление, пеленки вызывали в ней брезгливость и скуку. Вечно с книгой в руках, она много училась, занималась английским, делала переводы с немецкого, писала недурные компилятивные статьи, из которых кое-что впоследствии появилось в печати. Развитое сознание долга нередко заставляло ее делать над собой усилия и оказывать услуги окружающим, но, по определению Льва Толстого, все это выходило у нее «неловко и несимпатично». Полною противоположностью была младшая сестра — любимица отца, по прозванию «чертенок — Татьянчик». Этот «чертенок» оживлял весь дом. Танечка Берс умела расшевелить не только старшую сестру, но и свою величественную мать. С ранних лет она обладала великолепным контральто и усердно занималась музыкой. Это была натура, по преимуществу, артистическая: страстная, увлекающаяся, — она на всякое дело набрасывалась с величайшим азартом. И со всею непосредственностью, ей свойственной, открыто и обнаженно выявляла свой эгоизм и свое самолюбование. Но вместе с тем ее горячее сердце полно было любовью к окружающим.

Софья Андреевна Берс во всех отношениях представляла середину между сестрами. Она очень недолюбливала свою холодную и методическую старшую сестру и всю жизнь была в самой тесной, горячей дружбе с младшею. Последняя, уже на старости лет, так описывает Софью Андреевну. «Соня была здоровая, румяная девушка с темно-карими большими глазами и темной косой. Она имела очень живой характер с легким оттенком сентиментальности, которая легко переходила в грусть. Соня никогда не отдавалась полному веселью или счастью, чем баловала ее юная жизнь и первые годы замужества. Она как будто не доверяла счастью, не умела его взять и всецело пользоваться им. Ей все казалось, что сейчас что-нибудь помешает ему или что-нибудь другое должно придти, чтобы счастье было полное. Эта черта ее характера осталась у нее на всю жизнь. Она сама сознавала в себе эту черту и писала мне в одном из своих писем: «И видна ты с этим удивительным, завидным даром находить веселье во всем и во всех; не то, что я, которая, напротив, в веселье и счастье умеет найти грустное». Доктор Берс говорил: «бедная Сонечка никогда не будет вполне счастлива». Она обладала большою женственностью и любила детей. Она часто

сидела в детской, играла с маленькими братьями, забавляла их во время их болезни, выучилась для них играть на гармонии и часто помогала матери в ее хозяйственных заботах. Бережливость и даже некоторая скупость обозначились в ней рано. Она любила литературу, живопись, музыку, но во всем этом не проявила особых талантов. Впрочем, с 11 лет она аккуратно вела дневник и пыталась даже писать повести. «Самое большое впечатление, — пишет она в автобиографии, — произвело на меня «Детство» Толстого и «Давид Копперфильд» Диккенса… Когда я кончила читать Копперфильда, я плакала, точно мне пришлось расставаться с близкими людьми»… С «Детством» Толстого случилось маленькое осложнение. Читая рассказ, Софья Андреевна так увлеклась им, что заучивала некоторые места наизусть и переписывала их в свой дневник. Между прочим она вписала однажды: «Вернется ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и сила веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели: невинная веселость и беспредельная потребность любви были единственными побуждениями в жизни»… На обороте этой сентиментальной выписки старшая сестра Лиза не упустила случая начертать только одно слово «дура!», она терпеть не могла, когда «наша фуфель пускалась в поэзию и нежность». Сантиментальность не всегда исключает практичность. Так, по-видимому, было и с Софьей Андреевной: с молодых лет она умела ценить прозаические блага жизни, тянулась к ним и крепко держалась за то, что попадало в ее руки.

Желание нравиться, кружить головы, жажда всеобщей любви и поклонения владели почти одинаково обеими младшими сестрами и придавали им тот характер, о котором друг Толстого, поэт Фет сказал: «несмотря на бдительный надзор матери и безукоризненную скромность, девицы Берс обладали тем привлекательным оттенком, который французы обозначают словом «du chien» (привлекательная (фр.).)». У младшей это в большей степени являлось непосредственным, внешним отражением ее страстной натуры. У Софьи Андреевны сказывалось в невинном и умном кокетстве, которым она полуинстинктивно тянулась к завоеванию себе места под солнцем. В поведении молодых девушек не проскальзывало, конечно, и тени жеманства, которым стараются понравиться провинциальные барышни. Напротив, отличительной чертой Софьи Андреевны Лев Николаевич считал всегда необычайную простоту, прямоту и искренность.

Весною 1861 года старшие девушки (Лиза и Соня) сдали экзамены при московском университете. С младшей (Тани) этого не требовалось: родители возлагали надежды на ее исключительный голос и мечтали отдать ее в консерваторию. Экзамен положил грань между детством и юностью. Девиц одели в длинные платья и начали понемногу вывозить в свет. У каждой из них (характерная подробность) был свой любимый танец: Лиза предпочитала лансье, Соня — вальс, Таня — мазурку.

Но их интимная жизнь складывалась, главным образом, дома. У гостеприимного доктора Берса бывало много народа. По субботам и воскресеньям за стол садилось двадцать человек. В торжественных случаях неизменно подавался тот самый «анковский пирог», который впоследствии перешел в Ясную Поляну и в устах Льва Николаевича сделался символом сытой жизни и материального благополучия привилегированных классов. Анке — декан медицинского факультета московского университета, родственник и частый гость Берса — сообщил хозяйке дома рецепт сладкого пирога, который стал неизменной традицией всех торжественных дней семьи.

В доме всегда толпилась молодежь. Старший сын доктора Берса — Александр учился в кадетском корпусе и в отпускные дни приводил с собой товарищей. У Берсов, кроме того, часто бывали молодые родственники. Вся эта шумная ватага молодежи на рождественских и пасхальных каникулах, а часто и летом на даче в Покровском (в окрестностях Москвы) гостила неделями. В атмосфере полудетской, полугостиной царствовало совершенно особое, праздничное веселье и настроение общей влюбленности. Оно великолепно передано Толстым в тех главах «Войны и мира», которые вводят читателя в жизнь графов Ростовых.

Первым поклонником Софьи Андреевны был тот самый студент-учитель, который пытался «развивать» ее. Этот «нигилист» — живой и быстрый — носил очки и лохматые густые волосы, зачесанные назад. Но практическая девушка осталась холодна к воздыханиям бедного «учителя». Однажды, помогая Софье Андреевне переносить что-то, отчаянный малый схватил ее руку и поцеловал.

— Как вы смеете?! — закричала она, брезгливо отирая носовым платком место поцелуя.

Последовали энергичные жалобы матери. Но в поведении девушки, вероятно, были элементы задора и кокетства.

— Бери пример, как держит себя Лиза, с ней этого не случится, — последовал ответ хозяйки дома.

На смену «нигилисту» явился кадет старших классов — Митрофан Поливанов. Он принадлежал к состоятельной

дворянской семье с хорошими связями. На этот раз сердце Софьи Андреевны не осталось равнодушным. Теперь она уже не отнимала брезгливо рук, когда молодой человек прикладывался к ним на репетициях домашнего спектакля… Невинный роман тянулся довольно долго. Уезжая по окончании курса, в Петербург, в академию, Поливанов сделал предложение, получил согласие, но просил предмет своей любви считать себя свободной и не связанной словом. Переговоры эти, конечно, носили полудетский характер. Взрослые только догадывались о секретах молодежи. У маленькой Танечки были свои тайны. Игры с куклою Мими она сменила романическими мечтами о кузене Кузминском — корректном и выдержанном правоведе, за которого собиралась выйти замуж.

К этому миру московских средней руки барышень «с влюблениями разными и ленточками и со всей поэзией и глупостью молодости» прикоснулась исключительная по своей сложности натура Льва Толстого. И эта встреча имела самые серьезные последствия для всей жизни великого писателя.

Глава третья
Любовь

1

В один майский день 1856 года к даче доктора Берса в Покровском-Глебове подъехала коляска. Трое почетных гостей появились на веранде: «дядя Костя» — Ислявин (брат хозяйки дома), барон Менгден и офицер граф Лев Толстой. Неожиданный приезд произвел маленький переполох. Обед давно кончился, прислуга отпущена была в церковь, а гости оказались голодны. Хорошенькие дочери доктора Берса суетились, получив от величественной и спокойной матери разрешение накрыть на стол, подать оставшиеся кушанья и прислуживать гостям. Две старшие девочки — тринадцатилетняя Лиза и двенадцатилетняя Соня — в восторге от непривычного дела — весело бегали и хлопотали. Маленькая десятилетняя Таня чуть не плакала: сестры решительно устраняли ее от интересной «игры».

После обеда хозяин дома оживленно расспрашивал графа Толстого про войну и Севастополь. Зашла речь о Севастопольской песне, приписанной Толстому. Она причиняла ему в Петербурге большие неприятности.

Все хотели ее слышать. Ислявин сел за рояль и заиграл ритурнель. Толстой отказывался. Тогда появилась на сцену маленькая Танечка, уже проявлявшая замечательную музыкальность. Ей сказали слова первых куплетов, и Лев Николаевич, смеясь, принялся петь в компании десятилетней девочки. Много говорили о «Детстве» и «Отрочестве». Перебирали действующих лиц обоих рассказов. Все это было так близко обеим семьям… Девочки внимательно слушали семейные комментарии к произведениям, которые они уже знали и любили.

Потом гуляли. И «почетные» гости школьничали и играли в чехарду…

Вечером в Москве Толстой писал в своем дневнике: «С Костенькой обедали у Любочки Берс. Дети нам прислуживали; что за милые, веселые девочки».

2

В последующие годы Лев Николаевич редко бывал в семье

доктора Берса.

Но вот летом 1861 года он вернулся в Россию из второй поездки за границу. Несмотря на массу работы, он вырывался иногда из деревни в Москву. Попав как-то к Берсам, он был поражен переменою, которую нашел у них: «милые девочки» выросли в красивых барышень. Две старшие уже сдали свои экзамены, носили длинные платья, переменили прическу, выезжали. Лев Николаевич заинтересовался ими и стал часто бывать в доме. Он приезжал днем, вечером, к обеду и сразу сумел сделаться своим человеком. С серьезной Лизой он беседовал о литературе, задавал ей темы статей для ребят своей школы. («О Лютере», «О Магомете»), которые впоследствии напечатал в приложениях к своему журналу. С сентиментальной Соней Толстой играл в четыре руки, сидел с ней за шахматами, одушевленно рассказывал про своих любимых учеников. С «чертенком — Татьянчиком» он школьничал, сажал себе на спину и возил по комнатам; задавал задачи, заставлял говорить стихи. Иногда он собирал всех (гостей и домашних) вокруг рояля, учил их петь романсы и молитвы… Он выделял особенно голос молоденькой Тани (ей шел пятнадцатый год), часто аккомпанировал, возил ноты и называл «madame Viardo» — или, ввиду ее всегдашней жизнерадостности — «праздничная».

Иногда Лев Николаевич импровизировал сюжеты маленьких опер и заставлял молодежь подбирать слова («чем непонятнее — тем лучше») и петь на знакомые всем мотивы.

Раз он принес с собою повесть Тургенева «Первая любовь» и, прекрасно прочитав ее вслух, в назидание девицам сказал: «Любовь шестнадцатилетнего сына, юноши, и была настоящей любовью, которую переживает человек лишь раз в жизни, а любовь отца — это мерзость и разврат».

Он затевал большие прогулки, часами показывал московские достопримечательности и доводил молодежь до полного изнеможения.

Иногда он пробирался в детскую или кухню, болтал с прислугой и очень скоро сделался общим любимцем.

Частые посещения Толстого вызывали толки. Говорили, что он женится на старшей из сестер — Лизе. Рассказывали, что он заметил как-то своей сестре: «Если женюсь, так на одной из Берс».

— Ну вот, и женись на Лизе, — отвечала графиня, — прекрасная жена будет: солидная, сериозная, воспитанная.

Эти разговоры дошли до семьи Берсов. Конечно, родители и не мечтали ни о чем лучшем. Их дочь — бесприданница — могла стать графиней, женою состоятельного помещика, знаменитого писателя. Особенно желала этого брака мать, очень дружившая с

сестрою Льва Николаевича.

Болтовня и сплетни как бы разбудили холодную и спокойную Лизу ото сна. Она предалась мечтам, стала внимательнее к своей наружности, и мало-помалу ее твердо убедили окружающие, что «le comte» (так называли в семье Берсов Толстого) — без памяти влюблен в нее.

А Лев Николаевич, чувствуя создававшуюся около него атмосферу, как бы обязывавшую его к определенным действиям, начинал тяготиться этим и писал в своем дневнике 1861 года (6 мая): «День у Берсов приятный, но на Лизе не смею жениться», и позднее (22 сентября): «Лиза Берс искушает меня; но этого не будет. Один расчет недостаточен, а чувства нет».

Гораздо больше влекли его к себе младшие сестры — полные жизни и молодого задора. Но «Татьянчик» была еще ребенком. Зато Софья Андреевна положительно тянула его к себе. Она хорошела с каждым днем. Ее поклонник Поливанов, «невестой» которого она себя считала, был уже офицером и работал в военной академии в Петербурге. Она скучала по нем, плакала, жадно читала письма, которые присылал он ее младшей сестре… Но с некоторых пор ее женский инстинкт говорил ей, что «le comte» все больше и больше интересуется именно ею. Перед открывавшимися блестящими перспективами память о молоденьком офицерике бледнела и гасла. Правда, он знал ее с детства и любил такою, какая она была. А графа Толстого надо было еще завоевать… И на высоте его вкусов так трудно держаться!.. К тому же ее мучила неизвестность, неопределенность: а вдруг она ошибается, и общая уверенность, что Толстой ухаживает за ее сестрой, окажется справедливой?..

Она мучилась. Но женское самолюбие и гордые мечты брали свое. Осторожно привлекая к себе графа то сентиментальной задумчивостью, то резвостью, прямотой и живостью, она сама поддавалась чувству и уже почти готова была сознаться себе, что любит не Поливанова, а Толстого.

В феврале 1862 года Лев Николаевич чувствовал уже, что он «почти влюбился». Как близки были в ту пору отношения его к семейству Берс, показывает такой случай. С некоторых пор Толстой овладел влечениями своими к азартным играм, но временами потухший огонь вспыхивал с прежней силой. Однажды он встретился в клубе с заезжим офицером и проиграл ему 1000 рублей на китайском биллиарде. Платить нужно было в течение 24-х часов. Денег не было. Толстой бросился к издателю «Русского Вестника» Каткову и продал ему за 1000 рублей еще неотделанную и неоконченную повесть «Казаки». Он рассказал об этом в семье Берсов. Все нашли, что он продешевил. Тогда Лев

Николаевич должен был признаться в проигрыше. Молодые девушки убежали к себе в комнату и горько плакали о поступке «comte'a».

Прошло еще несколько месяцев. Лев Николаевич снова появился в Кремле. Он хандрил, осунулся и сильно кашлял. Его посылали на кумыс. Проездом через Москву он привез в семью Берсов двух крестьянских мальчиков, которых вез с собою в самарские степи.

Вечером, когда он уехал, Софья Андреевна была особенно грустна. Дольше обыкновенного стояла она на молитве.

— Соня, tu aime le comte (ты любишь графа? (фр.))? — спросила ее потихоньку младшая сестра.

— Je ne sais pas (не знаю. (фр.)), — прошептала девушка, по-видимому не удивляясь вопросу. — Ах, Таня, — немного погодя сказала она: у него два брата умерли чахоткой…

Она долго не засыпала в эту ночь, беззвучно шептала что-то и тихо плакала, стараясь не разбудить сестер.

3

Это лето протекало на даче в Покровском особенно бурно. Дом вечно полон был молодежью — родными и знакомыми, которые приезжали из Москвы, гостили или приходили из соседних дач. Прогулки, игры, шарады, спектакли сменяли друг друга, и веселью молодежи не видно было конца.

В такой сутолоке Софья Андреевна успевала писать потихоньку повесть и по вечерам читала ее по секрету младшей сестре. Повесть называлась «Наташа». Татьяна Андреевна впоследствии так передавала ее содержание:

В повести два героя — князь Дублицкий и Смирнов. Дублицкий — средних лет, непривлекательной наружности, энергичен, умен, с переменчивыми взглядами на жизнь. Смирнов — молодой, лет 23, с высокими идеалами, положительного, спокойного характера, доверчивый и делающий карьеру. Героиня повести — Елена — молодая девушка, красивая, с большими черными глазами. У нее старшая сестра Зинаида, несимпатичная, холодная блондинка, и меньшая — 15-ти лет, Наташа, тоненькая и резвая девочка. Дублицкий ездит в дом без всяких мыслей о любви. Смирнов влюблен в Елену, и она увлечена им. Он делает ей предложение; она колеблется дать согласие; родители против этого брака по молодости его лет. Смирнов уезжает по службе. Его сердечные муки. Много вводных сцен. Описание увлечения Зинаиды Дублицким, разные проказы Наташи, любовь ее к кузену

и т. д. Дублицкий продолжает посещать семью Елены. Она в недоумении и не может разобраться в своем чувстве, не хочет признаться себе самой, что начинает любить его. Ее мучает мысль о сестре и о Смирнове. Она борется со своим чувством, но борьба ей не по силам. Дублицкий как бы увлекается ею, а не сестрой, и тем, конечно, привлекает ее еще больше. Но его переменчивые взгляды на жизнь утомляют ее. Его наблюдательный ум стесняет молодую девушку. Она мысленно часто сравнивает его со Смирновым и говорит себе: «Смирнов просто, чистосердечно любит, ничего не требуя от меня». Приезжает Смирнов. Видя его сердечные страдания и вместе с тем чувствуя увлечения Дублицким, она задумывает идти в монастырь. В конце концов Елена устраивает брак Зинаиды с Дублицким и позднее выходит замуж за Смирнова.

Не все наивно в этой детской повести. И если Софья Андреевна писала ее с тем, чтобы показать Толстому, замысел обличает практичность и предприимчивость, удивительные в восемнадцатилетней девочке: в повести есть и полупризнание, и вызов на откровенность, и нелестная характеристика сестры-соперницы, и возбуждение ревности, способной подтолкнуть нерешительное чувство…

В начале августа Толстой снова появился в Москве. Кумыс отлично на него подействовал: здоровье восстановилось вполне. Но он казался чрезвычайно взволнованным. Его гордости нанесен был удар. В начале июля около полуночи в Ясную Поляну явились жандармы, смертельно напугали его старую тетушку и сестру. Эти, по выражению Толстого, «разбойники с вымытыми душистым мылом щеками и руками» — произвели тщательный обыск и перечитали все интимные письма и дневники Толстого. Причины обыска до сих пор не вполне выяснены. Среди молодежи, привлеченной Толстым к школьному делу, были студенты, исключенные из университета за беспорядки. В силу доносов за деятельностью Толстого, который в то время сам был еще официальным лицом, установилось наблюдение, и агенты тайной полиции жили в окрестностях Ясной Поляны. Но, вероятно, у правительства имелись и иные подозрения. В 1861 году в бытность свою в Лондоне Толстой очень сошелся со «страшным» Герценом, в течение почти месяца они открыто появлялись вместе, что не могло остаться неизвестным русской заграничной агентуре. Когда в России явились перепечатки прокламаций и статей «Колокола», полиция усиленно искала везде тайных типографий. Уединенная Ясная Поляна с подозрительными съездами учителей-студентов привлекла к себе внимание жандармов.

Толстой был взбешен. «Я часто говорю себе, — писал он своей придворной тетке, — какое огромное счастье, что меня не было. Ежели бы я был, то верно бы уже судился, как убийца». Жандармы обещали вернуться. Толстой ждал их с заряженными револьверами. Ему удалось доставить царю письмо с жалобою на правительство, и Александр II через флигель-адъютанта передал ему умеренное сожаление о случившемся…

Но все эти неприятности потонули в обострившихся интимных волнениях его сердца. У Берсов путаница отношений росла. Лиза «спокойно и уверенно владела им». Она становилась ненавистной Толстому, и он с трудом сдерживал себя в ее обществе.

В Покровском, куда Лев Николаевич часто ходил пешком из Москвы (12 верст), появилось новое лицо. Семья Берсов не так давно познакомилась с профессором Нилом Александровичем Поповым. Это был человек лет 35, степенный, с медлительными движениями и выразительными серыми глазами. Он очень охотно проводил время в обществе Софьи Андреевны и часто, беседуя даже с другими, не спускал глаз с грациозной фигуры и оживленного лица молодой девушки. Он нанял дачку за две версты от Покровского и не отказывал себе в удовольствии проводить время в семье Берсов.

Хозяйка дома говорила:

— Соня очень нравится Попову.

Но Софья Андреевна и сама чувствовала это. Она просто, весело и оживленно шла навстречу сближению с профессором. И такое поведение, казалось, привлекало его сильнее всякого кокетства. Но это сближение действовало и на Толстого. В нем просыпалась ревность. Быть может он и на этот раз погубил бы свое зарождавшееся чувство сомнениями, анализом, рассуждениями… Но думать было некогда: чувство зрело под бичем ревности. Софья Андреевна сидела в Покровском на приступочке дачи и весело болтала со своим профессором, а Лев Николаевич, «притворяясь, что ему ничего, изо всех сил ревновал и любил ее»…

Были ли то инстинктивные или сознательные стратагемы молодой девушки? Кто знает?

Она сказала как-то Толстому, что без него писала повесть.

— Повесть? Как же это пришло вам в голову? И какой сюжет?

— Описываю нашу жизнь.

— Кому же вы даете ее читать?

— Я читаю ее вслух Тане.

— А мне дадите?

— Нет, не могу.

Он, конечно, настаивал…

4

6-го августа Толстой уехал в Ясную Поляну. Любовь Александровна Берс с тремя дочерьми собралась навестить своего отца, того самого Александра Исленьева, — отца, который описан Толстым в «Детстве», «Отрочестве» и «Юности». Исленьев, проиграв в карты все свои владения, жил в поместье второй жены — в Ивицах. Имение находилось в 50 верстах от Ясной Поляны, и Лев Николаевич взял слово с Любови Александровны Берс, что по дороге в Ивицы она заедет к его сестре.

Они приехали в Ясную Поляну вечером. И было смешно и трогательно смотреть, как Лев Николаевич хлопотал об ужине и неумелыми руками помогал горничной стелить постели для приезжих барышень. На другой день устроился пикник в «Засеку» — вековой казенный лес, окружающий Ясную Поляну. На большой лесной поляне разостланы были ковры. Графиня Толстая и Любовь Александровна Берс хлопотали около самовара и привезенных с собой закусок, а Лев Николаевич заставил всю молодежь забраться на громадный стог сена и организовал на его вершине большой хор (на пикник съехались гости из окрестностей), которым дирижировал с воодушевлением…

В Ивицах шло сплошное веселье: танцы, игры, беготня. На третий день к вечеру перед изумленным обществом предстал верхом на белом коне Лев Николаевич Толстой: в опустевшей Ясной Поляне он соскучился по юным голосам и смеху своих гостей и сделал 50 верст верхом, чтобы снова повидать их. Он был бодр, оживлен и вел себя решительно, ясно выделяя своим вниманием Софью Андреевну. Молодая девушка поддавалась его настроениям и заметно краснела в его присутствии. Ее глаза говорили: «Я хочу любить вас, но боюсь…»

Даже флегматичная Лиза заволновалась.

— Таня, — говорила она, плача, младшей сестре, — Соня перебивает у меня Льва Николаевича. Разве ты этого не видишь?.. Эти наряды, эти взгляды, это старанье удалиться вдвоем бросаются в глаза…

Наконец произошло полуобъяснение.

«Чертенок-Татьянчик» так описывает эту сцену в своих «Воспоминаниях»:

«Вечером, после ужина меня просили петь. Мне не хотелось, я убежала в гостиную и искала, где бы спрятаться. Я живо вскочила под рояль. Комната была пустая, в ней стоял открытый

ломберный стол после карточной игры.

Через несколько минут в гостиную вошли Соня и Лев Николаевич. Оба, как мне казалось, были взволнованы. Они сели за ломберный стол.

— Так вы завтра уезжаете? — сказала Соня, — почему так скоро? Как жалко!

— Машенька одна, она скоро уезжает за границу.

— И вы с ней? — спросила Соня.

— Нет, я хотел ехать, но теперь не могу.

Соня не спрашивала — почему. Она догадывалась. Я видела по выражению ее лица, что что-то должно важное произойти сейчас. Я хотела выйти из своей засады, но мне было стыдно, и я притаилась.

— Пойдемте в залу, — сказала Соня. — Нас будут искать.

— Нет, подождите, здесь так хорошо. И он что-то чертил мелком по столу.

— Софья Андреевна, вы можете прочесть, что я напишу вам, но только начальными буквами? — сказал он, волнуясь.

— Могу, — решительно ответила Соня, глядя ему прямо в глаза.

Тут произошла переписка, уже столь известная по роману «Анна Каренина».

Лев Николаевич писал: «В. м. и п. с. с». и т. д.

Сестра по какому-то вдохновению читала: «Ваша молодость и потребность счастья слишком живо напоминают мне мою старость и невозможность счастья». Некоторые слова Лев Николаевич подсказал ей.

— Ну еще, — говорил он. «В вашей семье существует ложный взгляд на меня и вашу сестру Лизу. Защитите меня, вы с Танечкой…»

На обратном пути Берсы снова провели два — три дня в Ясной Поляне и вместе с графиней М. Н. Толстой, уезжавшей за границу, двинулись в Москву.

В Туле неожиданно предстал перед ними в дорожном костюме Толстой. К общей радости оказалось, что он… тоже едет в Москву.

* * *

В Москве для Толстого начались трудные дни. Он старался работать для своего педагогического журнала, бывал в театре и у знакомых. Но все больше и больше тянуло его к Берсам. Сначала он выдерживал характер и приходил через два — три дня. Потом

махнул на все рукой и появлялся чуть не каждый день. Ему казалось, что частые его посещения вызывают недоумение и даже недовольство хозяев. Он чувствовал себя неловко и все-таки не мог оставаться дома. Софья Андреевна встречала его то весело и радостно, то грустно и мечтательно, то сурово и строго. Ее утомляло ожидание, мучила неопределенность. Она дала ему наконец свою повесть. Но лекарство не произвело сразу того действия, на которое она, по-видимому, рассчитывала. Толстой медлил, сомневался, испытывал себя. Его гордость боялась возможности отказа. Великие люди болеют и любят также, как и все остальные смертные. Восемнадцатилетняя девочка, живая, неглупая и с характером, но ничем не выделявшаяся из среднего уровня, уже держала гениального человека в своих руках. Волею судеб и обстоятельств она сделалась властительницей всей его сложной духовной жизни. Ему казалось, что в ней одной его счастье, и ее любовь стала в данный момент единственной целью его жизни.

Один из благочестивых биографов Толстого с недоумением останавливается перед вопросом: почему великий писатель не проявил в данном случае своей проницательности? Почему он так много требовал в своих письмах от Валерии Арсеньевой и ничего не ждал, кроме любви, от Софии Берс?

Почему?.. Валерию Арсеньеву он пытался воспитывать, чтобы сделать из нее для себя сносную жену.

Софью Андреевну Берс он любил и страстно, всем существом тянулся к ней.

5

Вот отрывки дневника Толстого, относящегося к тому времени. Они лучше всего обнаруживают его тогдашние чувства.

«23 августа. Ночевал у Берсов. Ребенок! Похоже! А путаница большая. О, коли бы выбраться на ясное и честное кресло… Я боюсь себя, что, ежели и это желанье любви, а не любовь! Я стараюсь глядеть только на ее слабые стороны и все-таки она. Ребенок! Похоже.

26 августа. Пошел к Берсам пешком. Покойно, уютно. Девичий хохот. Соня нехороша, вульгарна была, но занимает. Дала прочесть повесть. Что за энергия правды и простоты! Ее мучает неясность. Все я читал без замиранья, без признака ревности или зависти, но «необычайно непривлекательной наружности» и «переменчивость суждений» — задело славно. Я успокоился. Все это не про меня…

28 августа. Мне 34 года. Скверная рожа, не думай о браке! Твое призвание другое и дано за то много…

30 августа. Соню с Поповым не ревную, мне не верится, что не я. Гуляли, беседка, дома за ужином — глаза, а ночь!.. Дурак! Не про тебя писано, а все-таки влюблен как в Сонечку Колошину и А. Оболенскую. Только.

2-го сентября. Пошел к Берс… Беда — Лиза! Соня и так славно… Она сказала о профессоре Попове и блуза… неужели это все нечаянно?..

3-го сентября. У них; сначала ничего, потом прогулка. «Он дурен, вы здоровый», — лорнет, — «приходите, пожалуйста». Я спокоен! Ехал и думал: либо все нечаянно, — либо необычайно тонко чувствует, либо пошлейшее кокетство — нынче один, завтра другой — либо и нечаянно, и тонко, и кокетливо. Но вообще ничего, ничего! Молчание! — Никогда так ясно, радостно и спокойно не представлялось мне будущее с женой…

6-го сентября. Я стар, чтобы возиться. Уйди или разруби…

7-го сентября… Дублицкий! Не суйся там, где молодость, поэзия, красота, любовь… там, брат, кадеты!..

Проснулся 10-го сентября в десять — усталый от ночного волнения. Работал лениво и, как школьник ждет воскресенья, ждал вечера… В Кремль. Ее не было… Приехала строгая, серьезная. И я ушел опять обезнадеженный и влюбленный больше, чем прежде. Au fond сидит надежда. Надо, необходимо надо разрубить этот узел. Лизу я начинаю ненавидеть вместе с жалостью. Господи! Помоги мне, научи меня! Опять бессонная и мучительная ночь, я чувствую, я, который смеялся над страданиями влюбленных!.. Чему посмеешься, тому и послужишь. Сколько планов я делал — сказать ей, Тане и все напрасно. Я начинаю всей душой ненавидеть Лизу. Господи, помоги мне, научи меня! Матерь Божия, помоги мне!..

12-го сентября. Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший и застрелюсь, ежели это так продолжится. Был у них вечер. Она прелестна во всех отношениях. А я — отвратительный Дублицкий. Надо было прежде беречься. Теперь уже я не могу остановиться. Дублицкий? Пуская! Но я прекрасен любовью. Да. Завтра пойду к ним утром. Были минуты, но я не пользовался ими. Я робел…

13-го сентября. Ничего не было… Каждый день я думаю, что нельзя больше страдать и вместе быть счастливым, и каждый день я становлюсь безумнее. Опять вышел с тоской, раскаянием и счастьем в душе. Завтра пойду, как встану, и все скажу. Или… Четвертый час ночи. Я написал ей письмо, отдам завтра, т. е. нынче, 14-го. Боже мой, как я боюсь умереть! Счастье и такое —

мне кажется невозможно. Боже мой, помоги мне!

15-го сентября. Не сказал, но сказал, что есть что сказать. Завтра…»

6

Это «завтра» наконец наступило.

Толстой пришел к Берсам вечером. Он заметно волновался и то садился за рояль, но, не доиграв начатого, вставал и ходил по комнате, то подходил к Софье Андреевне и звал ее играть в четыре руки. Она покорно садилась. Но он не начинал играть и говорил:

— Посидим лучше так.

Они сидели рядом за роялем, и Софья Андреевна тихо наигрывала вальс «Il baccio», разучивая аккомпанемент для пения.

Волнение Толстого, видимо, смущало и захватывало ее.

— Таня, — сказала она проходившей сестре, — попробуй спеть вальс, я, кажется, выучила аккомпанемент.

Татьяна Андреевна стала посреди комнаты и приготовилась петь.

Лицо Толстого вдруг омрачилось: снова возможность объяснения уходила от него. Впрочем, в кармане лежало приготовленное письмо, которое он решил отдать, если бы и на этот раз не смог объясниться. Софья Андреевна волновалась и аккомпанировала плохо. Толстой незаметно заменил ее.

Он загадал про себя: «ежели она возьмет хорошо финальную высокую ноту, передам сегодня же письмо. Если возьмет плохо, не передам».

Танечка была в голосе и, дойдя до финала, легко и решительно вскинула высокую ноту.

— Как вы нынче поете! — сказал взволнованным голосом Толстой.

Певицу позвали делать чай.

Толстой, все не решаясь говорить, передал Софье Андреевне письмо. Он сказал, что будет ждать ответа наверху, в комнате хозяйки дома.

Софья Андреевна, испуганная, с видом «подстреленной птицы», побежала к себе и заперлась на ключ.

Она читала:

«Софья Андреевна! Мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не

сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собой это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя или недостанет духу сказать вам все. Ложный взгляд вашего семейства на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. Повесть ваша засела у меня в голове, оттого, что прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому — не пристало мечтать о счастье… что ваши отличные, поэтические требования любви… что я не завидовал и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость и невозможность счастья, и именно вы…

Но и тогда, и после я лгал перед собой. Еще тогда я бы мог оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлеченья делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе. Что простые, дорогие отношения с вами как с другом, честным человеком — потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога не торопясь, скажите: что мне делать, чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер от смеху, ежели бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, *смело* вы можете сказать да, а то лучше скажите нет, ежели есть в вас тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услыхать нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду, любимым так, как я люблю, это будет ужасно…»

Чтение этого письма было прервано энергичным стуком в дверь.

— Соня! — почти кричала старшая сестра. — Отвори дверь, отвори сейчас! Мне нужно видеть тебя…

Дверь приотворилась.

— Соня, что le comte пишет тебе? Говори! Софья Андреевна молчала, держа в руках письмо.

— Говори сейчас, что le comte пишет тебе, — повелительным голосом возбужденно кричала Елизавета Андреевна.

— Il m'a fait la proposition, — тихо отвечала Софья Андреевна.

— Откажись! — с рыданием в голосе простонала старшая сестра. — Откажись сейчас!

Софья Андреевна молчала.

Явилась мать, которой удалось не без труда прекратить эту тяжелую сцену.

А в маленькой гостиной, составлявшей часть комнаты

хозяйки дома, стоял и ждал взволнованный Толстой. Он заложил руки назад и прислонился к печке. Лицо его было серьезно, выражение глаз сосредоточенное. Он казался бледнее обыкновенного.

Наконец послышались легкие шаги… Софья Андреевна быстро подошла к нему. Она сказала:

— Разумеется, «да»!

Через несколько минут начались поздравления.

Старый доктор был болен и сидел, запершись в своей комнате. Узнав от жены о предложении, он отнесся к нему, сначала, почти враждебно. Уверенный, что Толстой влюблен в Лизу, и что любовь эта взаимна, он чрезвычайно огорчился за старшую дочь и в первые моменты не хотел даже давать согласия. Но слезы Софьи Андреевны и благородное вмешательство самой Лизы скоро решили дело. Согласие родителей было получено, и 17 сентября Лев Николаевич отмечает в своем дневнике: «Жених, подарки, шампанское. Лиза жалка и тяжела; она должна бы меня ненавидеть. Целует».

По настоянию Толстого венчаться решено было через неделю. Началось сумбурное время, точно описанное в «Анне Карениной».

В дневнике Льва Николаевича читаем между прочим (от 24-го сентября): «Непонятно, как прошла неделя. Я ничего не помню; только поцелуй у фортепиано и появление сатаны, потом ревность к ее прошедшему, сомнения в ее любви и мысль, что она себя обманывает».

Он писал также о «страхе, недоверии и желании бегства», овладевших им в день венчания.

Из других источников узнаем больше.

Лев Николаевич (как и Левин в «Анне Карениной») передал невесте дневники своей молодости. В них она прочла про все его увлечения и падения и горько плакала над этими «ужасными» тетрадями.

Были и другие подробности, воспроизведенные в описании женитьбы Левина.

Так Т. А. Кузминская вспоминает: «Наступило 23 сентября. Утром совершенно неожиданно приехал Лев Николаевич. Он прошел прямо в нашу комнату. Лизы не было дома, а я, поздоровавшись, ушла наверх. Через несколько времени, увидев мать, я сказала ей, что Лев Николаевич сидит у нас. Она была очень удивлена и недовольна: в день свадьбы жениху приезжать к невесте не полагалось. Мама спустилась вниз и застала их вдвоем между важами, чемоданами и разложенными вещами. Соня вся в слезах. Мама не стала допытываться, о чем плакала Соня; она строго отнеслась ко Льву Николаевичу за то, что он приехал, и

настояла, чтоб он немедленно уехал, что он и исполнил. Соня говорила мне, что он не спал всю ночь, что он мучился сомнениями. Он допытывался у нее, любит ли она его, что может быть воспоминания прошлого с Поливановым (который очень некстати как раз в это время приехал в Москву) смущают ее, что честнее и лучше было бы разойтись. И как Соня ни старалась разубедить его в том, она не могла…»

Эти подробности живо напоминают нам знакомые картины из «Анны Карениной». Сходство идет так далеко, что даже история с парадной рубашкой, задержавшей венчание на полтора часа, оказывается, списана с натуры. Знаменитый английский критик Мэтью Арнольд, помнится, высказывал недоумение, зачем понадобилась автору эта сцена: она могла быть, но могла и не быть в действительности. Но Толстой, воспроизводя в женитьбе Левина события своей жизни, очевидно, пожалел опустить и эту маленькую подробность, причинившую ему в то время столько беспокойства и треволнений.

Впрочем, было бы ошибкою искать в отношениях Кити и Левина точное воспроизведение любовного романа Толстого. Правда, один русский критик (Громеко) построил свой разбор «Анны Карениной» на отождествлении Левина с Толстым. И Лев Николаевич не только не протестовал, но признавал книгу молодого критика лучшим разбором романа. Но Левин лишен гениальности Толстого и в таком виде, — надо сознаться, — довольно несносен.

А портрет Софьи Андреевны в лице Кити сильно изукрашен, по обыкновению Толстого, роскошною старинною рамою патриархального аристократического семейства и вообще, быть может, скорее воспроизводит идеал жены, как он рисовался в то время Толстому, чем подлинную действительность. Различны и взаимоотношения обеих пар: богатая аристократка, княжна Щербацкая, выходя замуж за Константина Левина, могла следовать только непосредственному влечению сердца. Гораздо сложнее и запутаннее складывались отношения между дочерью доктора Берса и знаменитым, вполне обеспеченным писателем, графом Львом Толстым.

7

Свадьба происходила 23 сентября вечером в придворной кремлевской церкви, полной приглашенными. Толстой отмечает, что лицо его невесты казалось заплаканным. Одним из ее шаферов был Поливанов. Брат жениха, граф Сергей Николаевич

Толстой уехал в Ясную Поляну, чтобы приготовить все к прибытию молодых.

После поздравлений, шампанского, парадного чая у доктора Берса, Софья Андреевна переоделась в темно-синее дорожное платье. Дормез, запряженный шестернею, с форейтором, уже стоял у подъезда.

По русскому обычаю перед отъездом все присели в молчании на несколько секунд.

Трогательное прощание. Молодые уже в карете. Снаружи, сзади кареты — старая горничная Берсов Варвара и человек Толстого Алексей. Все провожающие на крыльце. Последние поцелуи, пожелания и тяжелый дормез, медленно раскачиваясь, двинулся в дальний путь, увозя Толстого и его счастье. Было темно и холодно. Шел неприятный, осенний дождь.

Глава четвертая
Счастье

1

В Ясной Поляне молодых встретили «тетушка» Татьяна Александровна Ергольская и граф Сергей Николаевич Толстой.

«Прелестная старушка» была, собственно, дальней родственницей Толстых, но сыграла в семье их значительную роль. Ей и ее судьбе посвящены самые теплые и прочувствованные страницы «Воспоминаний» Льва Толстого. Она выросла в семье деда Льва Николаевича, пригретая и воспитанная из милости. Молодой девушкой она была очаровательна — с густой косой черных вьющихся волос, с оживленными, большими глазами, смелым, решительным характером и необыкновенною добротою. Не мудрено, что отец Льва Николаевича, выросши с ней в одном доме, питал к ней нежную привязанность. Она отвечала ему тем же. Этот роман изображен очень близко к действительности в «Войне и мире» — в отношениях графа Николая Ильича Ростова к Соне. Как и там, бедная девушка должна была уступить более счастливой сопернице — не очень красивой и не очень молодой княжне Марии Николаевне Волконской. Толстые были разорены, а княжна Волконская обладала значительным состоянием. Татьяна Александровна Ергольская осталась в семье своей соперницы, помогая ей по хозяйству. Через 8 лет графиня Мария Толстая скончалась, оставив мужу пятерых детей. Их воспитанием всецело занялась Ергольская. А через шесть лет граф Николай Толстой снова сделал ей предложение. Но не желая «портить своих чистых отношений» к его детям и к нему самому, она отказала и навсегда осталась девушкой.

Татьяна Александровна Ергольская была очень религиозна, любила музыку (хорошо играла на рояле) и, по уверению Толстого, писала письма, как мадам де Севинье. Всю свою любовь к графу Николаю Толстому она перенесла на его детей. Более всех привязалась она ко Льву Николаевичу и в последние годы своей долгой жизни «уже нераздельно соединяла его с тем, кого любила всю жизнь».

«Она делала внутреннее дело любви, — писал Толстой в девятисотых годах, — и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость

— незаметно влекли в общество к ней и давали особенную прелесть в этой близости».

Мечтой ее жизни было увидеть семейное счастье милого «Левочки». Об этом переписывались они, когда Толстой служил на Кавказе, и часто Лев Николаевич плакал над ее письмами от любви и умиления.

Понятно, с какою тихою радостью встретила молодых милая старушка.

На этот раз «разнежился» и старший брат писателя — гордый, замкнутый и себялюбивый граф Сергей Николаевич.

Ввиду стремительности, с которою, по требованию Толстого, шла подготовка к свадьбе, брат Толстого, отправленный в деревню, чтобы все приготовить к приезду молодых, успел отделать только комнату Софьи Андреевны.

Старого большого дома, в котором родился великий писатель, уже не существовало. Этот огромный (в 36 комнат) дом-дворец с колоннами и великолепным лепным фронтоном — был продан на своз, когда Лев Николаевич, ведя временами большую карточную игру, нуждался в деньгах.

От прежнего великолепия остались два флигеля, которые служили крыльями исчезнувшему зданию. В одном из них помещалась школа для крестьянских детей. В двух этажах другого флигеля устроились молодые. Ни малейших следов роскоши. Простая мебель, почти вся жесткая. Сервировка стола — более чем скромная. Освещение — в кухне и людских — сальные свечи, в «господских» комнатах — свечи пальмовые и — в виде некаждодневной роскоши — олеиновые лампы. Хозяин сразу сменил свое великолепное Шармеровское платье на теплую блузу, которая впоследствии стала единственным, традиционным его костюмом.

Его привычки удивляли молодую жену, воспитанную вовсе не в роскошной обстановке. Так, например, он спал всегда на темно-красной сафьяновой подушке, походившей на сиденье экипажа, причем не покрывал ее даже наволочкой. К постелям не полагалось ковриков, «так как имелись теплые туфли». В саду — ни одного цветка, дорожки не расчищены и вокруг дома — лопухи, на которые прислуга, не церемонясь, выбрасывала всякий сор.

Людей в доме было немного. Горничная Дуняша, лакей Алексей и старик повар, не всегда трезвый.

В эту, почти суровую обстановку — прилетела, по выражению Фета, «прелестная птичка, все оживившая своим присутствием».

Надев с гордостью дамский кружевной чепец с малиновыми лентами, — молодая графиня с первых же дней старалась играть

в солидную и степенную хозяйку дома и «большую барыню». «И ничего! — пишет Толстой, — похоже и отлично».

Но иногда ей надоедало быть «большой». Тишина в доме раздражала. Нападала неудержимая потребность веселья и движения: она прыгала, бегала, вспоминая как, бывало, бесилась с младшей сестрой, чертенком-Татьянчиком, кричавшей при этом, что ее «носит».

С первого же дня Софья Андреевна пробовала «помогать мужу: она заходила в школу, присматривалась к занятиям, — «то сочиненьице поправит, то задачку — деление…» Но ей больше нравилось катанье на тройках вместе со школьниками: они останавливались, бегали, пели песни и веселились вовсю.

Пробовала она заниматься и молочным хозяйством, ходила на удой коров, но запах коровника, к удивлению Льва Николаевича, вызывал у нее тошноту, и молодая городская жительница не могла заставить себя возиться с коровами…

«Тетенька такая довольная, — писала она сестре, — Сережа такой славный, а про Левочку и говорить не хочу, страшно и совестно, что он меня так любит, — Татьянка, ведь не за что?..»

Иногда они вдвоем пишут письма:

Лев Николаевич: «Татьяна, милый друг, пожалей меня, у меня жена — глу-у-пая».

Соня: «Сам он глупый, Таня».

Лев Николаевич: «Эта новость, что мы оба глупые, очень тебя должна огорчать, но после горя бывает и утешение: мы оба очень довольны, что мы глупы, и другими быть не хотим».

Соня: «А я хочу, чтобы он был умный».

Лев Николаевич: «Вот озадачила-то!.. Ты чувствуешь ли, как мы при этом, раскачиваясь, хохочем?.».

Как маленькие дети, они забавляются друг другом — и любят. Они счастливы.

5 января 1863 года Толстой записывает в дневнике: «Люблю я ее, когда ночью или утром я проснусь и вижу: она смотрит на меня и любит. И никто — главное я — не мешаю ей любить, как она знает, по-своему. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем; и она скажет: «Левочка!»… и остановится; «отчего трубы в камине проведены прямо?» или «почему лошади не умирают долго?»… Люблю, когда мы долго одни, и «что нам делать?». «Соня, что нам делать?» Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня и вдруг, в мгновенье ока у ней и мысль, и слово — иногда резкое: «оставь!» «скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю я, когда она меня не видит и не знает, и я ее люблю по-своему. Люблю, когда она девочка в желтом платье и выставит нижнюю

челюсть и язык; люблю, когда я вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо; люблю когда…»

По словам самого Толстого, это было «неимоверное, дух захватывающее счастье».

Он захлебывается, не может удержаться и делится своими восторгами с графиней Александрой Толстой.

«Пишу из деревни, пишу и слышу наверху голос жены, которая говорит с братом и которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. Когда буду спокойнее, напишу вам длинное письмо — не то, что спокойнее, — я теперь спокоен и ясен, как никогда не бывал в жизни, — но когда буду привычнее. Теперь у меня постоянно чувство, как будто я украл незаслуженное, незаконное, не мне назначенное счастье. Вот она идет, я ее слышу, и так хорошо. Благодарю вас за последнее письмо. И за что меня любят такие хорошие люди, как вы, и что всего удивительнее, как такое существо, как моя жена…»

В половине декабря 1862 года Толстые побывали ненадолго в Москве. По наблюдениям посторонних в отношениях между супругами чувствовалась некоторая перемена. Не было прежних беспокойно вопросительных, влюбленных взглядов. Была нежная заботливость с его стороны и какая-то любовная покорность с ее. Энергичная, самостоятельная натура Софьи Андреевны на время совершенно заслонилась авторитетом Толстого: молодая женщина говорила словами и думала мыслями своего гениального мужа.

Толстые пробыли в Москве всего несколько недель: их тянуло обоих назад, в деревенское уединение, где они могли снова предаться без помех своему исключительному счастью.

Через 3 с половиной месяца после свадьбы (5 января 1863 года) Толстой пишет в дневнике: «Счастье семейное поглощает меня всего… Часто мне приходит в голову, что счастье и все особенные черты его уходят, а никто его не знает и не будет знать, а такого не было и не будет ни у кого, и я сознаю его…»

Но «прелестная идиллия Толстых» не укрылась от окружающих. Ею любовались все. Фет в своих старческих воспоминаниях говорит о ней с трогательной нежностью и умилением, а один из братьев Софьи Андреевны рассказывает: «В бытность мою в Ясной Поляне я был едва ли не самый ближайший свидетель их семейной жизни. Близость, дружба и взаимная любовь этой четы всегда служили для меня образцом и идеалом супружеского счастья. Достаточно упомянуть, что мои родители, подобно всем родителям, всегда недовольные участью

своих детей, говорили: «Соне лучшего счастья пожелать нельзя!»…

2

Конечно, даже и этой чете Гименей заготовил не только розы. Были капризы. Были сцены. Было взаимное непонимание. И плакала не только молодая жена. Плакал тридцатичетырехлетний Толстой, горестно думая о том, что и у них — «все как у других». Он боялся этих «беспричинных» царапин, которые оскорбляли его чувство к ней и, казалось, оставляли грубые следы на нежной ткани их счастья. Уже тогда, как Левин в «Анне Карениной», он учился уступать, выжидать, смирять в себе желание доказывать свою правоту… К чему? Смешно было сердиться на самого себя, — ведь они, представлялось ему, теперь уже навсегда составляли одно существо…

Капризы и сцены становились особенно часты в периоды ее беременности. Несмотря на исключительную проницательность, он еще долго не мог в применении к себе уяснить чисто физиологических основ учащавшихся семейных размолвок. Позднее, в «Крейцеровой сонате» он остановился на этом вопросе с беспощадным реализмом. В первые годы супружества он готов был винить во всем свою молодую жену…

Но все это таяло, как легкие перистые облака в горячем лазурном небе.

Гораздо серьезнее угрожали их счастью частые припадки ревности. Они ревновали оба. Ревновали без всякого повода, и с такой непонятною остротою, которая может найти объяснение только в страстности их темпераментов. Эти вспышки ревности ослепляли их, делали несправедливыми, заставляли глубоко страдать.

Ссоры такого рода начались очень скоро. Надо было писать графине Александре Толстой и представиться ей — пока письменно. Софья Андреевна не хотела. Она ревновала. Первого октября Лев Николаевич отмечает в дневнике: «Она придворным тетушкам не хочет писать — все чует». Только через четыре дня удается убедить ее. Но ее холодное, ученическое, вежливое, французское письмо — вызывает огорчение и досаду Толстого.

В Москве надо делать визиты. Она протестует. Ей особенно не хочется ехать к княгине А. А. Оболенской, которой когда-то увлекался Толстой. Все же они едут, и Софья Андреевна, везде ласково и тепло принятая, не может удержаться, чтобы не записать в своем дневнике злые слова: «Еще ездили мы к княгине

А. А. Оболенской, М. А. Сухотиной и Е. А. Жемчужниковой. Первые две сестры взяли тон презрения к молоденькой и глупенькой жене своего бывшего поклонника и посетителя Льва Толстого».

Когда он уезжал куда-нибудь вечером без нее, она спокойно ждала до назначенного часа. Малейшее запоздание выводило ее из себя. Ревнивым предположениям не было конца. В них часто фигурировала все та же прежняя пассия Толстого — княгиня А. А. Оболенская. Однажды он был у Аксакова, где встретился с декабристом Завалишиным (Толстой собирался в то время писать роман из эпохи декабристов). Он заговорился и вернулся домой вместо 12 в половине второго. Софья Андреевна изнывала от ревности и встретила его потоком безудержных слез…

Казалось бы, в деревенской глуши ей ревновать было не к кому. Но стоило ее кузине — Ольге Исленьевой, гостившей в Ясной Поляне, проявить свои музыкальные таланты, играя в четыре руки со Львом Николаевичем, и Софья Андреевна уже завидовала, ревновала, ненавидела… Уже после кончины мужа она рассказывала В. Ф. Булгакову, как в первые годы ревновала Толстого к местным крестьянкам. Она уверяла даже, что надевала крестьянское платье и часами бродила по парку и прилегающему лесу, рассчитывая, что Толстой примет ее за свою любезную и окликнет именем, которое она так добивалась узнать…

Муж ревновал еще больше. Присутствие Поливанова в Москве в январе 1863 года «неприятно» ему, хотя он и старается «перенести его наилучше». В дневнике он пишет: «Она говорит о ревности: «уважать надо», «уверенность» и т. д.; и то, и это — фразы, а все боишься и боишься…»

Он ревнует к учителю яснополянской школы или к почти незнакомому молодому гостю.

— Намедни, — рассказывала Софья Андреевна сестре, — мы как-то оживленно спорили при всех за чаем с Эрленвейном, не помню о чем — так что-то незначительное, ну вот он и приревновал меня.

— Как, к учителю? Господи! Вот бы не ожидала! Они все такие сериозные.

— Я сразу и не поняла его ревности, не понимала и спрашивала себя: за что он язвит мне? за что он вдруг охладел ко мне? и я плакала и не находила ответа…

В дневнике Толстого этот ничтожный эпизод принимает необычайные размеры. Лев Николаевич мучается, призывает на суд свою женатую жизнь, старается быть справедливым. Обращаясь к жене, он восклицает: «Я тебя ищу чем бы обидеть невольно. Это скверно и пройдет, но не сердись: я не могу не

нелюбить тебя…» «Нынче ее видимое удовольствие болтать и обратить на себя внимание Эрленвейна вдруг подняли меня на старую высоту правды и силы. Стоит это прочесть и сказать: да, знаю — ревность! и еще успокоить меня и еще что-нибудь сделать, чтобы успокоить меня, чтобы скинуть меня опять во всю с юности ненавистную пошлость жизни. А я живу в ней вот девять месяцев. Ужасно! Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые девять месяцев, которые могли бы быть лучшими, а которые я сделал чуть ли не из худших в жизни. Чего мне надо? жить счастливо, т. е. быть любимым ею и собою, а я ненавижу себя за это время…» «То что ей может другой человек — и самый ничтожный — быть приятен, — понятно мне и не должно казаться несправедливым для меня, как ни невыносимо, — потому что я за эти девять месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек…»

Сколько шуму из пустяков! Как бурлит, клокочет, волнуется эта огненная натура! Он готов проклинать и себя, и свое счастье из-за нескольких оживленных слов, сказанных его женой учителю!..

Становится понятною и та трагикомическая сцена ревности, которую Толстой воспроизвел в «Анне Карениной». Сестра Софьи Андреевны так описывает этот случай:

«Как-то раз приехал в Ясную знакомый нам всем молодой человек — Писарев, светский, милый, но самый обыкновенный. Он редко бывал у нас. Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около нее. По-моему, это была его единственная вина. Писарев помогал Соне передавать чашки с чаем, оказывая и другие мелкие хозяйственные услуги. Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в ее сторону, чтобы что-либо сказать ей.

Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно передал мне свою тревогу. Соня тоже заметила это и не знала, как ей поступить.

Кончилось тем, что на другое утро, по приказанию Льва Николаевича, был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы…»

«Они оба были до боли ревнивы, — пишет сестра Софьи Андреевны, — и этим самым отравляли себе жизнь, портя свои хорошие, сердечные отношения».

3

Трудно представить себе полноту уединения, в котором

проходили первые годы жизни Толстых. Железной дороги (Москва — Курск — Киев) в то время еще не было, а сообщения на лошадях затруднялись до чрезвычайности ужасным состоянием проселочных дорог. Раз, самое большое — два раза в год — заезжал по дороге из Москвы в свое имение Фет с женою, или друг юности Толстого — Дьяков. Иногда бывал единственный оставшийся в живых брат Льва Николаевича — граф Сергей Толстой. Очень редко заглядывали из Тулы — семья Аурбах, учитель и романист Евгений Марков. И это все. По отношению к окрестным помещикам Толстой держал себя пренебрежительно, и когда по старой памяти кто-нибудь из них являлся в Ясную с визитом к тетушке, Лев Николаевич исчезал из дома через другие двери.

К слову сказать, настоящих друзей у Толстого не было. В молодые годы он сблизился в Казани со студентом Дьяковым, товарищем старших братьев. Перипетии этой дружбы описаны в «Отрочестве» и «Юности». Но Дьяков — добродушный и остроумный весельчак, практический человек, умевший беззаботно брать от жизни ее дары, — конечно, нимало не походил сам по себе на князя Нехлюдова повестей Толстого: этот характер в своих основах взят тоже с натуры — с брата Льва Николаевича Дмитрия, умершего от чахотки в 1856 году. Хорошие отношения с Дьяковым у Толстого удержались на всю жизнь, но ко времени женитьбы Льва Николаевича они давно уже выродились в чисто внешнее приятельство. Ближе всех к Толстому в то время стоял Фет. И этой дружбе нельзя не удивляться. Отставной кавалерийский офицер Фет, по мнению Тургенева, был просто глуп. Его скупость вошла в пословицу: богатство, к которому он стремился всей душой, представлялось ему высшим благом жизни. Он был «крепостником», то есть крайним консерватором, негодовавшим на правительство за освобождение крестьян. Эти крайние воззрения, столь отличные от либеральных взглядов Тургенева, вероятно, и обусловливали суровый отзыв последнего. В действительности Фет был несомненно незаурядный человек и поэт — «Божией милостью», давший много оригинального русской литературе. Он был очень чуток к настоящей художественной красоте. В позднейшие годы жизни он перевел в стихах многих древних классиков, обе части гётевского «Фауста» и «Мир как воля и представление» Шопенгауэра. При всех своих талантах он не имел однако с Толстым ничего общего. Но он обожал Льва Николаевича, можно сказать, молился на него, и это безусловное преклонение, по-видимому, и вызывало благодарное расположение Толстого.

Замечательно, что такой же характер впоследствии носила

«дружба» Толстого с философом Николаем Страховым, с художником Ге, с Чертковым.

В молодости Толстой уверял, что в деле сближения с людьми может руководствоваться только одной формулой «все или ничего». Но, по-видимому, даже и это «все» должно было носить совершенно определенный характер…

Замкнутая жизнь Толстых проходила вдвоем. Быстро старевшая «тетенька» Татьяна Александровна и ее старушка приживалка не нарушали одиночества. И единственный человек, вносивший развлечение в эту монотонную жизнь, была «чертенок-Татьянчик» — младшая сестра Софьи Андреевны, с весны 1863 года часто и подолгу гостившая в Ясной Поляне. Ее «праздничную», полюбили здесь все. Лев Николаевич хорошо понимал эту особенную натуру и привязался к ней навсегда, как к младшей сестре. Еще в 1862 году он писал ей: «Я так и увидал в этом твою чудную, милую натуру со смехом и фоном поэтической серьезности. Такой другой Тани, правда, что не скоро потрафишь, и такого другого ценителя как Лев Толстой». Он зорко вглядывался в эту полную огня, жизнерадостную, самовлюбленную девочку, которая у него на глазах превращалась в прелестную девушку.

— Ты думаешь, ты даром мой хлеб ешь? — говорил он ей шутя. — Я тебя всю записываю.

Толстой брал свои модели с натуры. Но трудно согласиться с теми, кто ищет в его типах рабское воспроизведение оригиналов. «Натура» служила ему лишь отправным пунктом. Внешние черты характера Наташи Ростовой (в «Войне и мире»), например, удивительно напоминают Танечку Берс с ее страстностью и со всеми ее романическими похождениями. Но резкие контуры этого весьма земного облика Толстой смягчил и опоэтизировал, не пожалев лучших красок своей палитры. В Наташе Ростовой — многое от гениальной души самого автора и, в силу именно этого, является она одной из самых обольстительных героинь русской литературы.

Понятно само собою, какой переполох в одинокой жизни яснополянских затворников должна была произвести баронесса Менгдень, неожиданно явившаяся из Тулы приглашать Толстых на бал: наследника престола ожидали в Тулу, и местное дворянство готовилось встретить его торжественно. Лев Николаевич, ради своей милой свояченицы, должен был нарядиться во фрак и везти ее в Тулу; Софья Андреевна грустно отговаривалась нездоровьем. Она пишет в своих воспоминаниях: «Левочка решил повезти на бал сестру мою Таню, и я усердно принялась устраивать ей хороший наряд… Когда Лев Николаевич

надел фрак и уехал в Тулу на бал с Таней, я принялась горько плакать и проплакала весь вечер. Мы жили однообразно, замкнуто, скучно, и вдруг такой случай, и (мне было едва 19 лет) лишена его».

— Знаешь, Таня, — говорила она сестре, — я бы все равно не могла ехать, если бы и была здорова.

— Почему?

— Да ведь ты знаешь Левочкины воззрения? Могла ли бы я надеть бальное платье с открытым воротом? Это прямо немыслимо.

Сколько раз он осуждал замужних женщин, которые «оголяются», как он выражался.

Это была минутная слабость, грустное настроение. Вообще же говоря, Софья Андреевна мужественно переносила замкнутую деревенскую жизнь — даже тогда, когда ее гнездо еще не наполнилось птенцами.

Но временами все же ей скучно, тесно. Мирная гавань, достигнутая в 18 лет, не удовлетворяет: хочется открытого моря, бури. И Лев Николаевич отмечает в своем дневнике (3 марта 1863 года): «Я боюсь этого настроения больше всего на свете». И в другом месте: «Изредка и нынче все страх, что она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что многое в себе она задушает для меня и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет» (23 января 1863 года).

Он понимал, что надо как-нибудь разнообразить эту жизнь. Но от поездок в Москву надолго он считал необходимым пока воздержаться.

По этому поводу он писал тестю: «Я часто мечтаю о том, как иметь в Москве квартиру на Сивцевом Вражке. По зимнему пути присылать обоз и приехать прожить 3–4 месяца в Москве в своем перенесенном из Ясной мирке, с тем же Алексеем, той же няней, тем же самоваром и т. п. Вы, ваш мир, театр, музыка, книги, библиотека (это главное для меня в последнее время) и иногда возбуждающая беседа с новым умным человеком, вот наши лишения в Ясной. Но лишение, которое быть может, гораздо сильнее всех этих лишений — это считать каждую копейку, бояться, что у меня не хватит денег на то-то и на то-то. Желать что-нибудь купить и не мочь и хуже всего — стыдиться за то, что в доме у меня гадко и беспорядочно. Поэтому, до тех пор, пока я не буду в состоянии отложить столько-то для поездки в Москву, по крайней мере 6000 р., до тех пор мечта эта будет мечтой». Чтобы иметь возможность «отложить», он прежде всего принимается за хозяйство и делает это с обычным для него увлечением.

Он заводит большой пчельник верстах в 2-х от дома, просиживает там в сетке часами, наблюдая и изучая жизнь пчел. Он разводит племенных овец и уверяет, что «не может быть счастлив», если не достанет японских поросят. Получив их, он пишет в восторге: «Что за рожи, что за эксцентричность породы!..» Он разводит плодовый сад, сажает леса елок, пробует заниматься даже кофе, цикорием или вдруг начинает сажать капусту в огромном количестве. Ему нужны интенсивные корма для свиней, и он не останавливается перед постройкой винокуренного завода, хотя молодая жена протестует: ей кажется это безнравственным. У них нет управляющего. Толстой пробует приспособить к этому делу одного из студентов-учителей, т. к. интерес к школам пропал. Но учитель ничего не понимает в хозяйстве и бросает это дело. Тогда Толстой «делает важное открытие»: «приказчики и управляющие, и старосты есть только помеха в хозяйстве; попробуйте прогнать все начальство и спать до десяти часов, и все пойдет, наверное, не хуже: я сделал этот опыт и остался им вполне доволен…» После такого «открытия» хозяйские функции распределяются так: на Софью Андреевну возлагается контора, расчеты с наемными рабочими, домашнее хозяйство, амбары, скотоводство; сам Лев Николаевич заведует полем, огородом, лесами, пчелами. При каждом из них несколько мальчиков, бывших учеников яснополянской школы.

Подобная постановка дела могла, конечно, дать только плачевные результаты. Расчеты и предположения были всегда великолепны; практика, однако, отнюдь им не соответствовала. Так, например, японские поросята погибли один за другим. Много позже оказалось следующее. Лев Николаевич взял для ухода за свиньями бывшего старшину, лишившегося места за пьянство. Такое «благодеяние» пришлось, однако, не по вкусу новому свиноводу.

— Идешь, бывало, к свиньям, — рассказывал он впоследствии, — и даешь им корму понемножку, чтобы слабели. Они и слабеют. Придешь в другой раз — еще какая пищит, ну опять немного корму задашь, а уж если утихнет — тут ей и крышка…

Окорока, посылаемые на продажу в Москву, плохо выделанные и плохо просоленные, попадали в оттепель, портились, и их с трудом удавалось продать за бесценок. Масло оказывалось горьким; по краям кадок бывало много зеленой плесени…

Полевое хозяйство тоже шло неважно: четырнадцатилетний деревенский мальчик, следивший за исполнением распоряжений хозяина на сотнях десятин, конечно, не в силах был управиться. И

только яблочный сад и лесные посадки процветали.

От хозяйственных неудач Лев Николаевич отдыхал на охоте, которою в то время увлекался до самозабвения. Особенно нравилась ему тяга вальдшнепов весною. Со своей любимой собакой сеттером Доркой он мог часами простаивать в лесу на вечерней заре, наслаждаясь природой и прислушиваясь к хорканью и тяжелому полету птицы. Он любил также травлю зайцев и лисиц и мчался за собаками через препятствия, забывая в азарте обо всем и обо всех. Однажды, осенью 1864 года он поехал один с борзыми на английской заводской кобыле, никогда не бывавшей на охоте. Выскочил русак, и все помчалось за ним. Лошадь не перескочила через встретившуюся глубокую рытвину и упала. Толстой разбил и вывихнул себе правую руку. Он долго лежал без чувств. Очнувшись, он с трудом добрел до большой дороги и лег. Проезжавшие мужики положили его на телегу и довезли до ближайшей избы на деревне (он не хотел пугать домашних). Софья Андреевна, ожидавшая появления второго ребенка, с ужасом и почти бегом бросилась к нему. Приехавший из Тулы врач ничего не мог сделать. И только на другой день удалось найти хирурга, который вправил плечо. Операция однако не удалась. Испытывая ужасную боль, Толстой должен был ехать в Москву, где ему сделали новый перелом и вправление руки под хлороформом. После долгого лечения он, наконец, поправился и мог вернуться к жене, которая осталась в Ясной с двумя своими младенцами. Эта разлука и взаимные опасения еще более сблизили их и дали повод к бесконечно нежной и трогательной переписке.

Впрочем, и более ранние, немногочисленные его письма к Софье Андреевне во время охотничьих отлучек — дышат удивительной любовью. «Ты говоришь, — пишет он, например, — я забуду. Ни минуты, особенно с людьми. На охоте я забываю, молю об одном дупеле: но с людьми — при всяком столкновении, слове, я вспоминаю о тебе, и все мне хочется сказать тебе то, что я никому, кроме тебя, не могу сказать…»

Ему кажется, что под влиянием жены он становится совсем новым человеком. Школы заброшены. Студенты-учителя разъезжаются. С педагогическим журналом он стремится поскорее покончить.

«Как мне все ясно теперь! — пишет он в дневнике 8 февраля 1863 года. — Это было увлечение молодости — фарсерство почти, которое я не могу продолжать, выросши большой. Все она. Она не знает и не поймет, как она преобразовывает меня без сравнения больше, чем я ее. Только не сознательно. Сознательно и я, и она бессильны…»

Осенью того же года он рассказывает своему другу, кто этот новый Толстой, «выросший большой».

«Я муж и отец, довольный вполне своим положением и привыкнувший к нему так, что для того, чтобы почувствовать свое счастье, мне надо подумать о том, что было бы без него. Я не копаюсь в своем положении (grubeln оставлено) и в своих чувствах и только чувствую, а не думаю в своих семейных отношениях. Это состояние дает мне ужасно много умственного простора. Я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810 и 20-х годов, который занимает меня вполне с осени. Доказывает ли это слабость характера или силу — я иногда думаю: и то, и другое, — но я должен признаться, что взгляд мой на жизнь, на народ и на общество теперь совсем другой, который у меня был в последний раз, как мы с вами виделись. Их можно жалеть, но любить мне трудно понять, как я мог так сильно. Все-таки я рад, что прошел через эту школу; эта последняя моя любовница меня очень формировала. — Детей и педагогику я люблю, но мне трудно понять себя таким, каким я был год тому назад. Дети ходят ко мне по вечерам и приносят с собой для меня воспоминания о том учителе, который был во мне и которого уже не будет. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему…»

«Чтоб жить честно, — писал, как мы видели, Толстой в 1857 году, — надо рваться, путаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие — душевная подлость…»

Нет, все это не так, — говорит теперь Толстой, выросши большой: «Помните, я как-то раз вам писал, что люди ошибаются, ожидая какого-то такого счастья, при котором нет ни трудов, ни обманов, ни горя, а все идет ровно и счастливо. Я тогда ошибался: такое счастье есть, и я в нем живу третий год, и с каждым днем оно делается ровнее и глубже. И материалы, из которых построено это счастье, самые некрасивые — дети, которые (виноват) мараются и кричат, жена, которая кормит одного, водит другого и всякую минуту упрекает меня, что я не вижу, что они оба на краю гроба, и бумага и чернила, посредством которых я описываю события и чувства людей, которых никогда не было…»

Кипучая, деятельная, разносторонняя натура Толстого не могла, конечно, удовлетвориться одним хозяйством. Успокоившись и освободившись от своих увлечений школой и педагогикой, он всецело отдался творчеству. Теперь он «чувствовал себя яблоней, которая росла с сучками от земли и во все стороны, которую теперь жизнь подрезала, подстригла, подвязала и подперла, чтобы она другим не мешала и сама бы укоренялась и росла в один ствол».

Этот «ствол» был поэтическим творчеством.

Еще в половине 1861 года приятели Толстого (например, художественный критик Боткин) думали, что Лев Николаевич «не может писать», потому что «ум его находится в каком-то хаосе представлений»; с нетерпением ждали они момента, когда «душа его на чем-нибудь успокоится».

Это была ошибка: Толстой никогда не переставал писать. Но он охладел к публике. Ключ творчества не иссякал и продолжал тихо струиться под поверхностью его бурной жизни. Толстой только не печатался: беллетристические произведения этих лет («Казаки», «Поликушка», «Холстомер») оставались в набросках. Как будто не хватало подъема, внутренней силы, побуждения, чтобы завершить эти творения.

Этот подъем дала ему счастливая любовь и женитьба. Его жизнь сосредоточилась за это время на семье, жене, детях, и потому на заботах об увеличении средств жизни. Так объясняет он в «Исповеди» (1879) усиление творческой деятельности после женитьбы. Он пишет далее: «Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромлого денежного вознаграждения и рукоплесканий за ничтожный труд, и предался ему, как средству к улучшению своего материального положения и заглушения в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей. Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше».

Такие суровые суждения едва ли справедливы в своей покаянной прямолинейности. В процессе литературной работы Толстой придавал ей большое значение, мучился ею и почти никогда не упускал из виду великих гуманитарных вопросов, которые стоят перед человечеством. Но, конечно, в этот период семья поглощала его, и семейное счастье, семейные добродетели выдвигаются в его большом романе («Война и мир») на первый план. Его молодая жена исполнена семейных добродетелей. Но она любит, кроме того, достаток, славу, художественное творчество. И нет никакого сомнения — они совершенно

солидарны в этих вкусах. Тридцатичетырехлетний гениальный Толстой имел в то время подавляющее влияние на восемнадцатилетнюю жену. И если великий писатель из буйно растущей во все стороны яблони превратился в яблоню подрезанную, подстриженную и подвязанную, то сделала это, конечно, не молоденькая жена. В сторону основных вкусов любимой женщины клонятся, конечно, его симпатии. Но он сам (в подстриженном жизнью виде) страстно и с азартом отдается в то время художественному творчеству, видя в нем между прочим и путь к славе и достатку.

Теперь он жаждет писать и писать для публики. Еще недавно он творил и не печатал; теперь он пытается заранее обеспечить сбыт для своего будущего создания. Через каких-нибудь полтора месяца после свадьбы ему хочется писать роман. Он извещает об этом редактора журнала «Русский Вестник» Каткова и с нетерпением ждет ответа: этот «ответ должен решить дело».

Неизвестно, что ответил Катков. Быть может, он напомнил о займе, который предстояло погасить «Казаками». По крайней мере, вместо задуманного романа, Толстой немедленно принимается за отделку этой повести, которую писал с 1852 года. Уже 19 декабря 1862 года он сдает ее Каткову. Покончив с «Казаками», Лев Николаевич быстро отделывает и пускает в ход «Поликушку». Он до того хочет писать, что, по просьбе съехавшейся в Ясную Поляну молодежи, в три дня набрасывает пьеску «Нигилист», которую и разыгрывают на домашнем спектакле Софья Андреевна, сестра ее Танечка и другие родственники. Он пишет комедию «Зараженное семейство» (тоже на тему о «нигилистах»), везет ее в Москву и очень озабочен сейчас же, непременно в этом сезоне пристроить ее в императорский театр. Наконец, осенью 1863 года он уже вполне занят «романом из времени 1810 и 20-х годов». По этому поводу он сообщает гр. А. А. Толстой: «Я теперь писатель всеми силами моей души и пишу и обдумываю, как я еще никогда не писал и не обдумывал». Речь идет о «Декабристах».

Что натолкнуло Толстого на историю военного восстания, разыгравшегося 14 декабря 1825 года? Быть может, писателю попались под руку какие-либо мемуары; в семье могли храниться какие-либо предания, так как декабрист князь С. Гр. Волконский приходился Льву Николаевичу троюродным дядей. Но раз напав на эту тему, он неизбежно должен был задуматься над причинами общественного движения начала XIX столетия. Декабристы показались ему чересчур «французами». Таким образом он подошел к эпохе наполеоновских войн, а с событиями этого времени связаны живейшие воспоминания двух семей, к которым

он принадлежал — князей Волконских и графов Толстых.

Среди людей, окружавших детство Льва Николаевича, было много свидетелей нашествия французов: бабушка по отцу, сам отец, тетки, прислуга. Позднее, в пятидесятых годах, он познакомился с двоюродной сестрой своей матери, княжной Волконской, в молодые годы жившей подолгу в Ясной Поляне, у сурового генерал-аншефа князя Волконского и его кроткой дочери княжны Марьи. Перечитывая письма и дневники своих родных, Лев Николаевич был обвеян теплыми семейными воспоминаниями. Но рядом с этим он столкнулся снова с вопросом о войне, которому посвятил ранее столько сил и внимания. Таким образом великий писатель постепенно перешел от первоначальной темы к истории столкновения России с Наполеоном. Быть может также недостаток материалов по истории декабрьского восстания (архивы были под запретом) заставил его на время отказаться от первоначальных проектов. Так возникла грандиозная эпопея «Война и мир». Она взяла у Толстого пять лет (1864–1868) исключительного, напряженного, часто мучительного труда. Много раз он отчаивался и готов был бросить работу. Счастливо законченная она дала Толстому славу и деньги. Быть может, ни одно из русских литературных произведений не затрагивает стольких вопросов, имеющих общечеловеческое значение. Но нельзя все-таки не заметить, что «Война и мир» является апофеозом патриотизма, семьи, помещичьей жизни и «здравого смысла посредственности». Этими идеями, столь чуждыми и враждебными Толстому в последующих его исканиях, он был полон в первые годы своей женатой жизни. И Софья Андреевна целиком разделяла его тогдашние взгляды и вкусы. То были, несомненно, их общие идеалы.

5

Всегда ли, неизменно ли чувствовал себя хорошо Толстой в виде «подрезанной, подвязанной и растущей в один ствол яблони»?

В конце 1865 года он на 13 лет прерывает свой дневник. Это могло, конечно, случиться под напором поэтического творчества. Но могло быть и иначе. У счастливых супругов не было секретов. Каждый из них читал все писания, всю переписку другого. При таких условиях становилось трудно совершенно искренно отражать в дневниках все перипетии семейной жизни. Слова могли своеобразно преломляться в душе другого, могли действовать специфически, могли вызывать неожиданные

осложнения. Вероятно, Толстому не раз приходилось замечать, как его мимолетные настроения, отраженные на страницах дневника, сгущались в тучки на ясном небе их семейного счастья. Быть может, не желая идти на компромиссы, не желая замалчивать свои мысли и чувства (даже мимолетные), не терпя никакой неискренности, Толстой вынужден был прекратить свою долголетнюю беседу с самим собой.

Тем большую важность приобретают немногочисленные записи о тех ссорах, которые неизбежны и бывают во всякой семье. Сначала он касается их подробно. Эти «надрезы любви», наскоро «замазываемые поцелуями», волнуют и глубоко огорчают его. Он знает, что такая «замазка» — ложная. «Каждый такой раздор, — пишет он, — как ни ничтожен, есть надрез любви. Минутное чувство увлечения, досады, самолюбия, гордости — пройдет, а хоть маленький надрез останется навсегда и в лучшем, что есть на свете, в любви»… Позднее (в 1865 году), наряду с признаниями, что он «счастлив, как один из миллиона», попадаются краткие отметки: «С Соней в холоде», «С Соней что-то враждебно»…

Бывают моменты и более сериозные.

«Я думал, — пишет он 2 июня 1863 года, — что я стареюсь и что умираю, думал, что страшно, что я не люблю. Я ужасался над собой, что интересы мои — деньги или пошлое благосостояние. Это было периодическое засыпание…»

Или:

«…Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями — жена, дети, здоровье, богатство…»

Под влиянием минутной досады, он даже тоскует о прежней своей «дикости»: «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю».

Какие-то глубокие душевные процессы совершаются в нем. Моментами они прорываются наружу и удивляют его самого.

15 января 1863 года он записывает: «Дома вдруг зарычал на Соню за то, что она не ушла от меня. И стало стыдно и страшно…»

Сестра Софьи Андреевны в своих воспоминаниях рисует такую сцену, относящуюся к 1867 году:

«Соня рассказывала мне, что она сидела наверху у себя в комнате на полу у ящика комода и перебирала узлы с лоскутьями. (Она была в интересном положении). Лев Николаевич, войдя к ней, сказал:

— Зачем ты сидишь на полу? Встань!

— Сейчас, только уберу все.

— Я тебе говорю, встань сейчас, — громко закричал он и вышел к себе в кабинет.

Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и возглас:

— Уйди, уйди!

Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитые посуда и термометр, висевший всегда не стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Мне стало и жалко, и страшно — я никогда не видала его таким. Я ни слова не сказала ему и побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как безумная, все повторяла: «За что? что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя:

Я пошла в кабинет и спросила его: Левочка, что с тобой?

— Уйди, уйди! — злобно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении, он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил все на пол. Я схватила его руки. Он рассердился, сорвал со стены термометр и бросил его на пол.

Так мы с Соней никогда и не могли понять, что вызвало в нем такое бешенство…»

Подстриженной и подвязанной яблоне вдруг становилось тесно, и она буйно выпрямлялась во весь рост…

Глава пятая
Семья

1

Первый ребенок родился у Софьи Андреевны 28 июня 1863 года. Роды протекали тяжело, но окончились благополучно. Мальчика назвали Сергеем. Свои переживания во время появления на свет первого ребенка Толстой описал в «Анне Карениной» (часть VII, гл. 13–16). Различна была лишь обстановка. Роды происходили в деревне, но удалось своевременно привезти из Тулы доктора и акушерку. В Ясной Поляне гостили мать Софьи Андреевны и ее сестра.

Вскоре после родов для Толстых наступили тяжелые переживания. По представлению Льва Николаевича, мать должна была не только кормить ребенка, но и полностью, без всякой посторонней помощи, обслуживать его. А Софья Андреевна поправлялась плохо, ребенок был беспокойный, и кормление его шло неблагополучно. Теща находила, что «Левочка все чудит», советовала в помощь молодой матери нанять к ребенку няню и, ввиду болезни дочери, требовала кормилицы. Болезнь молодой матери развивалась и делала ее все нервнее и раздражительнее. Приглашенный врач запретил ей кормить. Старик Берс писал: «Ходи, Таня, по пятам за своей неугомонной сестрицей, брани ее почаще за то, что она блажит и гневит Бога, а Левочку просто валяй, чем попало, чтобы умнее был. Он мастер большой на речах и писаньях, а на деле не то выходит. Пускай-ка он напишет повесть, в которой муж мучает больную жену и желает, чтобы она продолжала кормить своего ребенка; все бабы забросают его каменьями. Смотри, хорошенько его; требуй, чтобы он вполне утешил свою жену…»

Все это действовало на Толстого угнетающе. Его раздражали капризы больной жены. Он не верил врачам и окружающим. Пришлось однако сдаться: в детской появились няня и кормилица. Лев Николаевич старался обходить эту комнату; если же все-таки ему приходилось переступать ее порог, на лице его проглядывала «брюзгливая неприязнь». Впрочем, наполовину он был утешен: кормилица скоро заболела, ее удалили и ребенка воспитали на рожке. «Я помню, — пишет Кузминская, — как однажды я застала Льва Николаевича одного в детской. Чтобы успокоить кричавшего ребенка, он сильно дрожащей рукой совал

в его маленький ротик рожок, наливая молоко другой рукой…»

Эти семейные разногласия и неприятности очень скоро окончились: недовольство Толстого, в сущности, не имело оснований. Софья Андреевна оказалась исключительно чадолюбивой матерью.

За 25 лет (1863–1888) она родила тринадцать человек детей. Трое из них погибли в младенческом возрасте, двое дожили лишь до 5–7 лет, но остальных она выходила. Всех почти она кормила сама. Находясь почти при смерти после рождения второй дочери (Марии), она вынуждена была согласиться взять кормилицу. Увидев своего ребенка у груди чужой женщины, она пришла в волнение и горько плакала от ревности. Лев Николаевич находил эту ревность естественною и восхищался чадолюбием жены.

Воспитание детей долго не вносило в семью Толстых сериозных осложнений. Правда, были разногласия. Но Софья Андреевна во всем уступала, а своеобразные требования Льва Николаевича обычно сохраняли решительность и остроту не очень долго. Одно время присутствие няньки в детской возмущало его. Скоро он привык к этому. Позднее (в 1866 году), познакомившись в Туле с семьею князя Львова, он пришел в восхищение от порядков, которые установила в княжеской детской бонна англичанка. Решено было выписать из Англии ее младшую сестру. И скоро в Ясной Поляне появилась молоденькая и энергичная Ханна Терсей, а Софье Андреевне пришлось носить в кармане словарь и учиться болтать по-английски. Лев Николаевич требовал подчеркнутой простоты в обиходе детей: мальчик должен был ходить в толстой холщевой рубашке, девочка в неуклюжих, серых фланелевых блузках. Никаких игрушек не полагалось. Но когда ему самому приходилось покупать в Москве полотно для белья детей, он выбирал всегда первоклассный материал — тонкий и дорогой.

Англичанка немедленно завела свои порядки, умело, энергично, хотя и с тактом отстаивая гигиену и красоту в детском обиходе. Она незаметно перекроила и перешила неуклюжие детские костюмы, завела небывалую чистоту, с большой энергией мыла, стирала, чистила все, что попадалось ей под руки, и вводила разнообразные игры. Лев Николаевич не мог не видеть прекрасных результатов такой практики и легко забывал о своих требованиях.

К детям (особенно к маленькой дочке) он относился сердечно, но терпеть не мог поцелуев, ласк и нежностей. Впрочем, от новорожденных он держался на приличном расстоянии.

— Как я не могу в руках держать живую птичку, — говорил он, — со мной делается что-то вроде судорог, так я боюсь брать

на руки маленьких детей…

Через десять лет после женитьбы у Толстых было уже шесть человек детей. Вот как характеризует он их в письме к своему другу (гр. А. А. Толстой):

«Старший белокурый, недурен; есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо… Сережа умен — математический ум — и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать; но gauche и рассеян. Самобытного в нем мало; он зависит от физического. Когда он здоров и нездоров, это два различные мальчика. Илья, 3-ий, никогда не был болен; ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать; игры выдумывает сам. Аккуратен, бережлив; «мое» для него очень важно. Горяч и violent, сейчас драться; но и нежен и чувствителен очень. Чувствен — любит поесть и полежать спокойно… Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются. Все недозволенное имеет для него прелесть, и он сразу узнает… Летом мы ездили купаться; Сережа верхом, а Илью я сажал себе за седло. Выхожу утром — оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно, сияет. Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. — Найди шляпу, а то я не возьму. — Сережа бежит туда-сюда, — нет шляпы. — Нечего делать, без шляпы я не возьму тебя — тебе урок, — у тебя всегда все потеряно. Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду — будет ли от него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает о лошади. Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу — нет. Она догадывается, что ее брат, который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе (она угадала). Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает (дорогой он потерял записку) и начинает рыдать. Тут и Илья тоже и я немножко.

Таня — 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь, и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее возиться с маленькими. Очевидно, она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта, теперь сознательная — иметь детей… Она не очень умна, она не любит работать умом, но механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная, если Бог даст мужа. И вот, готов дать

премию огромную тому, кто из нее сделает новую женщину.

4-ый Лев. — Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Все, что другие делают, то и он, и все очень ловко и хорошо. Еще хорошенько не понимает.

5-ая Маша, 2 года, та, с которой Соня была при смерти. Слабый, болезненный ребенок. Как молоко белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные голубые глаза, странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Эта — будет одна из загадок, будет страдать, будет искать, ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.

6-й Петр — великан. Огромный, прелестный беби, в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится, и жена приходит в восторженное волнение и торопливость, когда его держит; но я ничего не понимаю. Знаю, что физический запас есть большой. А есть ли еще то, для чего нужен запас — не знаю…»

Дети росли и росли, «никого не спрашиваясь и не дожидаясь». И в начале семидесятых годов Толстые вдруг почувствовали новые требования в деле воспитания. Немец-дядька и англичанка-нянька уже не удовлетворяли. Казалось, машина, заведенная с первых лет, остановилась. Безмолвные запросы детей поднялись на новую ступень. Толстые оказались на перепутье: переезжать в город они не хотели «до последней возможности», потому что покинуть деревенское уединение значило для них «испортить всю свою жизнь и всю жизнь детей». Оставаясь далее в деревне, нужно было думать о правильной постановке образования и о привлечении компетентного педагогического персонала. И вот начинаются неустанные заботы о приискании гувернеров, гувернанток, учителей. Эти заботы всецело взял на себя Лев Николаевич. Он вел по этому поводу переписку с друзьями, ездил в Москву и Тулу и очень тщательно, всегда сам выбирал каждое новое лицо. Скоро гувернеры швейцарцы и французы, гувернантки англичанки, русские учителя, учителя музыки составили целый штат. Время детей проходило за уроками, которые распределены были, как в гимназиях, и каждый ребенок от одного учителя переходил к другому.

Родители принимали самое деятельное участие в воспитании. Софья Андреевна сама учила их русской грамоте, французскому и немецкому языкам, танцам. Лев Николаевич преподавал математику. Позднее, когда старшему сыну нужно было начать изучение греческого языка, а подходящего учителя не было, Толстой бросил все свои дела и с обычным увлечением принялся за греков. Не зная даже алфавита, он быстро преодолел все

трудности и через шесть недель свободно читал Ксенофонта и даже Гомера. Об уроках отца третий сын его (Илья) вспоминает так: «Арифметике меня учил сам папа. Я слышал раньше, как он учил Сережу и Таню, и я очень боялся этих уроков, потому что иногда Сережа не понимал чего-нибудь, и папа говорил ему, что он нарочно не хочет понять. Тогда у Сережи делались странные глаза, и он плакал. Иногда я тоже чего-нибудь не понимал, и он сердился и на меня. С начала урока он всегда был добрый и даже шутил, а потом, когда делалось трудно, он начинал объяснять, а мне становилось страшно, и я ничего не понимал».

Особенное внимание обращено было на физическое развитие, на гимнастику и на всякие упражнения, развивающие смелость и самодеятельность. Отец сам учил детей плавать, тренировал их в верховой езде во время долгих прогулок и на охоте, зимой устраивал с ними каток на пруду и ледяные горы, катался на коньках и одно время каждый день собирал детей в аллею, где была устроена гимнастика, и заставлял по очереди делать трудные упражнения на параллелях, трапеции и кольцах. В прыганье, беге, гимнастике Лев Николаевич не знал соперников и проделывал все это с необыкновенным увлечением, которым заражал не только детей, но и всех присутствовавших. То же увлечение вносил он в крокет и в лаун-теннис, которые процветали в Ясной Поляне. Вечером Лев Николаевич собирал вокруг себя детей и читал им. Наибольший успех имели романы Жюля Верна. Когда книги были без иллюстраций, Толстой находил время сам делать к ним рисунки и демонстрировал их детям во время чтения.

Вообще, в первые пятнадцать лет семейной жизни Толстой отдавал много сил и дум воспитанию детей. Он вносил в их жизнь массу юмора и жизнерадостного веселья. Он умел оживить всех и переломить сумрачные настроения. Одним из средств для этого являлся часто применявшийся «бег нумидийской конницы». Бывало, сидят все в зале после отъезда скучных гостей, ссоры, детских слез, недоразумения. Все притихли. И вдруг Лев Николаевич срывается со стула, поднимает одну руку кверху и, помахивая кистью ее над головой, стремглав бежит галопом вприпрыжку вокруг стола. Все летят за ним, в точности повторяя его движения. Обежав вокруг комнаты несколько раз и запыхавшись, все садятся на свои места — уже совсем в другом настроении. Все оживлены и веселы, ссоры, скука и слезы забыты…

По представлению детей, мама была первым человеком в доме, от нее зависело все. Она заказывала повару обед, отпускала ребят гулять, шила детское платье и белье; она всегда кормила

грудью какого-нибудь маленького и целый день торопливыми шагами бегала по дому. С ней можно было капризничать, хотя иногда она бывала сердита и наказывала.

С папа капризничать не полагалось. Когда он смотрел в глаза, то знал все, и потому лгать ему было невозможно. И ему никто никогда не лгал. Папа никогда никого не наказывал и почти никогда не заставлял детей что-нибудь делать, а выходило всегда так, что все, как будто по своему собственному желанию и почину, делали все так, как он этого хотел.

«Мама часто бранила нас и наказывала, — рассказывает Илья Львович, — а он, когда ему нужно было заставить нас что-нибудь сделать, только пристально взглядывал в глаза, и его взгляд был понятен и действовал сильнее всякого приказания. Вот разница между воспитанием отца и матери: бывало, понадобится на что-нибудь двугривенный. Если идти к мама, она начнет подробно расспрашивать, на что нужны деньги, наговорит кучу упреков и иногда откажет. Если пойти к папа, он ничего не спросит, — только посмотрит в глаза и скажет: «возьми на столе». И, как бы ни был нужен этот двугривенный, я никогда не ходил за ним к отцу, а всегда предпочитал выпрашивать его у матери. Громадная сила отца, как воспитателя, заключалась в том, что от него, как от своей совести, прятаться было нельзя».

Но то были лишь разные приемы воздействия. Относительно ближайших целей воспитания между отцом и матерью в первые пятнадцать лет не было никаких существенных разногласий: их дети должны были воспитываться «как все», т. е. как все дети, принадлежащие к их кругу. Старые патриархальные обычаи русской зажиточной дворянской семьи твердо укоренились в Ясной Поляне, и юные годы маленьких Толстых были во многих отношениях еще прекраснее, еще счастливее, чем те, которые так тепло описал в «Детстве» и «Отрочестве» Лев Николаевич. Гениальный отец всем существом своим стремился вложить в жизнь семьи как можно больше радостной бодрости, любви и мягких человечных чувств. Но он вовсе не настаивал на практическом применении в деле воспитания своих взглядов, своих убеждений, своего опыта. В те далекие времена Толстой был равнодушен к религии. И тем не менее, каждый вечер и каждое утро дети должны были молиться за отца, за мать, за братьев, за сестер и за всех православных христиан. Накануне больших праздников в усадьбу приезжал священник и служил всенощную. Великим постом, На первой и последней неделе, весь дом постился.

Толстой энергично проповедывал «свободную школу» для народа. По его убеждению, ребенок должен был заниматься

только тем, что его интересовало. Но его собственные дети переходили от одного учителя к другому и по часам, размеренно учились тем именно предметам, которые указаны были программами официальных учебных заведений. Это был минимум, от которого не полагалось отклоняться; в этих пределах выбирать не разрешалось.

Старшая дочь Толстого (Татьяна Львовна) рассказывает: «В доме жило не менее пяти воспитателей и преподавателей и столько же приезжало на уроки (в том числе и священник). Мы учились — мальчики шести, а я пяти языкам, музыке, рисованию, истории, географии, математике, закону Божьему.

В 1861 году Толстой писал про крестьянских детей: «Нельзя рассказать, что это за дети — надо их видеть. Из нашего милого сословия детей я ничего подобного не видел». Однако, своих детей он воспитывал замкнуто, — так именно, как принято было в его «милом сословии».

«Мы росли настоящими «господами», — свидетельствует его сын, — гордые своим барством и отчуждаемые от всего внешнего мира. Все, что не мы, было ниже нас и поэтому недостойно подражания. К деревенским ребятам мы тоже относились свысока. Я начал ими интересоваться только тогда, когда стал узнавать от них некоторые вещи, которых раньше не знал, и которые мне было запрещено знать. Мне было тогда около десяти лет. Мы ходили на деревню кататься с гор на скамейках и завели было дружбу с крестьянскими мальчиками, но папа скоро заметил наше увлечение и остановил его. Так мы росли, окруженные со всех сторон каменной стеной англичанок, гувернеров и учителей, и в этой обстановке родителям было легко следить за каждым нашим шагом и направлять нашу жизнь по-своему, тем более, что сами они совершенно одинаково относились к нашему воспитанию и ни в чем еще не расходились».

2

«Жена моя совсем не играет в куклы. Вы ее не обижайте. Она мне сериозный помощник…»

Так писал Толстой Фету летом 1863 года. И это была истинная правда. Мы видели, что Софья Андреевна с самого начала старалась всей душой входить в интересы мужа: она деятельно помогала ему вести большое и разностороннее хозяйство без приказчика, сидела в конторе, в последние месяцы беременности бегала по усадьбе с большой связкой ключей у

пояса, носила Льву Николаевичу за две версты завтрак на пчельник, где он проводил иногда несколько часов в день… Она пыталась даже (впрочем, без большого успеха) присутствовать на скотном дворе во время дойки коров и помогать мужу в его занятиях с крестьянскими ребятишками.

Софья Андреевна участвовала даже в таких занятиях, как охота и рыбная ловля. Толстой выбирал узкие места на реке Воронке и ставил сеть на палке, а жена его со своей сестрой болтали воду, и таким образом щука шла в сеть, которую он держал, очень увлекаясь, по обыкновению, этим занятием.

Скоро, однако, такой обширный круг дел значительно сузился: школа была закрыта, пора страстного увлечения хозяйством миновала под влиянием временных неудач. К тому же пошли дети, приковавшие к себе все внимание молодой матери. Вскоре после рождения первого ребенка наступили, как мы видели, осложнения: болезнь матери и серьезная размолвка между супругами. Рождение девочки в 1864 году сопровождалось новым горем: Толстой с вывихнутым плечом вынужден был на месяц уехать в Москву, а Софья Андреевна не могла двинуться за ним с двумя крошками. Мальчик опасно болел и был при смерти. Но молодая мать не падает духом. «А ты, душенька, — пишет она мужу, — напротив, живи в Москве, не приезжай, покуда у нас все опять не будет совершенно хорошо и исправно. Теперь все равно ты для меня не существовал бы. Я все в детской со своими беспокойными детьми. И на ночь, и на день мне их оставить никак нельзя».

Иногда, впрочем, ее еще манило вдаль. Ребенок поправился, муж после удачной операции вот-вот должен был вернуться. А между тем приехала в Ясную его сестра с детьми, и снова зазвучала забытая в этих стенах музыка. И Софья Андреевна писала мужу:

«Музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы, — детской, пеленок, детей, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже странно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы и при всем, чего ты не видел во мне, за что тебе иногда бывало досадно. А в эту минуту я все чувствую, и мне больно и хорошо. Лучше не надо всего этого нам, матерям и хозяйкам… Оглядываю твой кабинет и все припоминаю, как ты у ружейного шкапа одевался на охоту, как Дора прыгала и радовалась около тебя, как сидел у стола и писал, и я приду, со страхом отворю дверь, взгляну, не мешаю ли я тебе, и ты видишь, что я робею, и скажешь: войди. А мне только этого и хотелось.

Вспоминаю, как ты больной лежал на диване; вспоминаю тяжелые ночи, проведенные тобой после вывиха. И Агафью Михайловну на полу, дремлющую в полусвете, и так мне грустно, что и сказать тебе не могу…»

С годами, когда число детей все увеличивалось, Софье Андреевне приходилось все больше и больше заглушать в себе те «струны», о которых она говорит в приведенном письме. Она все реже могла позволять себе засиживаться за роялем, играя в четыре руки с мужем. Толстой заметил в ней способности к рисованию и старался правильно поставить наезды в Ясную из Тулы преподавателя. Но мысли и об этом пришлось очень скоро оставить. И все же молодая хозяйка и мать нашла выход для владевших ею порою стремлений. Она страстно привязалась к творчеству мужа и сумела принять в нем участие. Она взялась за неблагодарную работу переписывать его запутанные и мало понятные черновики. Она сидела в гостиной, около залы, у своего маленького письменного стола и все свободное время писала. Нагнувшись к бумаге и всматриваясь своими близорукими глазами в каракули Толстого, она просиживала так целые вечера и часто ложилась спать поздней ночью, после всех. Иногда, когда что-нибудь бывало написано совершенно неразборчиво, она шла к мужу и спрашивала его. Но это бывало очень редко: она не любила его беспокоить. Толстой брал рукопись и немножко недовольным голосом говорил: «Что же тут непонятного?», начинал читать, но на трудном месте запинался и сам иногда с большим трудом разбирал или, скорее, догадывался о том, что было им написано. У него был плохой почерк и манера вписывать целые фразы между строк, в уголках листа и даже поперек. Переписанные четким почерком Софьи Андреевны, листки снова поступали в обработку автора и почти всегда возвращались к Софье Андреевне в неузнаваемом виде. Таких переделок и переписок одной и той же главы могло быть много, и некоторые места переписывались пять и даже десять раз. Степан Берс в своих воспоминаниях утверждает, что сестра его переписала громадный роман «Война и мир» семь раз.

Когда в Ясную Поляну поступали корректуры, повторялась та же история. Сначала на полях появлялись корректорские значки, пропущенные буквы, знаки препинания, потом менялись отдельные слова, потом целые фразы, начинались перечеркивания, добавления — и, в конце концов, корректура становилась вся пестрая, местами черная, и в таком виде посылать ее было нельзя: никто, кроме Софьи Андреевны, во всей этой путанице условных знаков, переносов и перечеркиваний разобраться не мог. Снова просиживала она ночь за перепиской

всего начисто. Утром у нее на столе лежали аккуратно сложенные и исписанные мелким, четким почерком листы и приготовлено все к тому, чтобы, когда «Левочка» встанет, послать корректуру на почту. Утром Толстой брал их опять к себе, чтобы пересмотреть «в последний раз» — и к вечеру опять то же самое: все переделано по-новому, все перемарано.

«Соня, душенька, прости меня, опять испортил всю твою работу, больше никогда не буду, — говорил он с виноватым видом, показывая ей запачканные места. — Завтра непременно пошлем…» И часто это «завтра» тянулось неделями и месяцами…

Эта работа Пенелопы нисколько не угнетала молодую женщину. Напротив, во время перерывов она скучала и требовала продолжения. Отпуская переписанное в Москву, она точно отпускала ребенка и боялась, что ему причинят вред. В своей автобиографии Софья Андреевна рассказывает: «Часто, переписывая, я недоумевала и не понимала, почему переправлялось и уничтожалось то, что казалось мне так прекрасно; и радовалась, когда восстановлялось исключенное… Я так вникала всей душой в то, что переписывала, что сама начинала чувствовать, что не совсем складно, а именно: где частые повторения одного слова, длинные периоды, где надо переставить знаки, уяснить смысл и проч. На все это укажешь Льву Николаевичу. Иногда он обрадуется моим замечаниям, а иногда растолкует, почему именно так надо, скажет, что мелочи не важны, а важно общее… Переписывая я иногда позволяла себе делать замечания и просить выкинуть все то, что считала недовольно чистым для чтения молодежи, как, например, сцены цинизма красавицы Элен (в «Войне и мире»), и Лев Николаевич уступал моим просьбам. Но часто в жизни моей, переписывая поэтические и прелестные места в сочинениях моего мужа, я плакала не только от того, что меня трогало, но просто от художественного наслаждения, переживаемого мной вместе с автором…»

Понемногу девочка, думающая мыслями и говорящая словами мужа, растет и проявляет свою самостоятельность. Она вводит некоторые усовершенствования в обстановке и домашнем хозяйстве. Муж добродушно ворчит иногда на ее предприимчивость: он не любит нововведений.

Она завладевает, например, удивительной подушкой, на которой спит муж, и кладет вместо нее шелковую, пуховую, покрытую наволочкой.

— Левочка, — робко говорит она, — тебе покойнее будет спать на большой…

Лопухи и репейник вокруг дома удручают ее. После долгой

нерешительности, она приказывает, наконец, вычистить все около дома, дорожки посыпать песком, разбить кое-где клумбы, насадить цветы…

— Не понимаю, к чему это? — ворчит Лев Николаевич. — Прекрасно жили и без этого.

Но, заразившись примером, он сам велит красить скамейки в саду, чистить дорожки и аллеи.

Она своей властью разрешает трудный вопрос о снабжении усадьбы хорошей питьевой водой и заставляет возить ее за версту, из речки Воронки. Мало-помалу она забирает в руки все домашнее хозяйство, вводит свои порядки и окружает мужа теми неустанными заботами, которыми он пользовался почти до конца дней своих. Как-то в Ясную заехал довольно известный писатель граф Соллогуб. Присмотревшись к молодой чете, он сказал Софье Андреевне: «Вы настоящая нянька таланта своего мужа, и продолжайте в этом направлении жить всю вашу жизнь».

По окончании большого романа («Война и мир»), Толстой снова вернулся к увлечению педагогической деятельностью. Не оставляя беллетристики и работая время от времени над историческими романами («Декабристы», «Петр I»), он большую часть своих сил посвящал подведению теоретических итогов своей педагогической деятельности шестидесятых годов. Он издал две книги для начального обучения («Азбуки»), в которых применил свои идеи о наилучших методах преподавания грамоты. На этот раз он уже пользовался такой известностью, что нападки его на общепринятые методы не могли остаться незамеченными. Завязалась полемика, которая особенно усилилась с появлением в «Отечественных Записках» (самом распространенном журнале того времени) боевой статьи Толстого «О народном образовании». Эта статья вызвала целую бурю. Уйдя с головой в это новое увлечение, Толстой не довольствовался статьями. Он выступил публично в Москве в Комитете Грамотности с защитой своего метода и выдержал целое состязание: две школы работали при Комитете Грамотности параллельно, одна по звуковому методу, другая по толстовскому — слово-слого-слагательному. Он собирал в Ясной Поляне учителей окрестных школ, вел с ними занятия и собеседования. Он мечтал и хлопотал об устройстве в деревне «университета в лаптях» — такого высшего училища, в котором наиболее способные крестьянские дети могли бы продолжать свое образование, не выходя из условий деревенской жизни. Проверяя на практике свои теоретические выводы, Толстой в начале 1872 года снова открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей и привлек к преподаванию в ней всю семью и гостей. Софья

Андреевна пишет сестре:

«Мы вздумали после праздников устроить школу, и теперь каждое после-обеда приходит человек 35 детей, и мы их учим. Учит и Сережа, и Таня, и дядя Костя, и Левочка, и я. Это очень трудно учить человек 10 вместе; но зато довольно весело и приятно. Мы учеников разделили, я взяла себе 8 девочек и двух мальчиков. Таня и Сережа учат довольно порядочно, в неделю все знают уже буквы и склады на слух. Учим мы внизу, в передней, которая огромная, в маленькой столовой под лестницей и в новом кабинете. Главное то побуждает учить грамоте, что эта такая потребность, и с таким удовольствием и охотой они учатся все».

Школа эта просуществовала недолго. Но с нею не прошло увлечение педагогикой, которое мало-помалу стало вызывать недоумение Софьи Андреевны. В конце года в ее письмах звучат уже недовольные нотки: «в том доме у нас целая толпа учителей народных школ, человек 12, приехали на неделю. Левочка им показывает свою методу учить грамоте ребят, и что-то они там обсуждают; навезли ребят таких, которые еще не начинали, и теперь вопрос о том, как скоро они выучиваются по Левочкиной методе. Роман совсем заброшен, и это меня огорчает».

Огорчению этому суждено было развиваться. В конце 1874 года Софья Андреевна пишет брату: «Наша серьезная зимняя жизнь наладилась. Левочка весь ушел в народное образование, школы, учительские училища, т. е. где будут образовывать учителей для народных школ, и все это занимает его с утра до вечера. Я с недоумением смотрю на все это, мне жаль его сил, которые тратятся на эти занятия, а не на писание романа, и я не понимаю, до какой степени полезно все это, так как вся эта деятельность распространяется на маленький уголок России — на Крапивенский уезд».

Наконец, она прямо высказывает сестре свои задушевные мысли: «Левочка выдумал писать еще «Азбуку» для детей по примеру американских first, second и third reader… Роман не пишется, а из всех редакций так и сыплются письма: 10 тысяч вперед и по 500 за лист. Левочка об этом и не говорит, и как будто дело не до него касается. А мне Бог с ними — с деньгами, а главное, просто то дело, т. е. писание романов, я люблю и ценю, и даже волнуюсь им всегда ужасно; а эти азбуки, арифметики, грамматики я презираю и притворяться не могу, что сочувствую. И теперь мне в жизни чего-то недостает, чего-то, что я любила, и это именно недостает Левочкиной работы, которая мне всегда доставляла наслаждение и внушала уважение…»

Так формулировались постепенно некоторые расхождения. После 12 лет супружеской жизни молодая жена имела уже свои

мысли и вкусы и не боялась высказывать их прямо и открыто.

Впрочем, на этот раз все окончилось благополучно. Роман, о котором она говорит в последнем письме, был «Анна Каренина». Начатый 19 марта 1873 года, он, хотя и со значительными перерывами, был закончен в 1877 году и составил эпоху в русской литературе. Предшествовавшие беллетристические опыты («Декабристы», «Петр I») так и остались в отрывках, но зато «Анна Каренина» снова воскресила для Софьи Андреевны то счастливое время, когда она с наслаждением отрывала ото сна часы, чтобы разбирать и переписывать без конца запутанные страницы черновиков Толстого.

3

Громадный роман «Война и мир» разошелся быстро. Публика требовала второго издания, и к нему немедленно было приступлено. Критика разделилась: одни возносили роман до небес, другие находили в нем множество недостатков. Но бывают явления искусства, судьба которых не зависит от критики. И роман Толстого оказался на такой высоте. Широкая публика сразу увлеклась этим произведением, которое, помимо художественных достоинств, говорило много русскому сердцу. «Война и мир» очень скоро и навсегда стала национальной русской эпопеей. После выхода ее Толстой в общем сознании твердо занял первое место в тогдашней русской литературе. Широкой популярности Толстого содействовали и его экскурсии в область педагогики. Двенадцать лет назад он страстно занимался школами и целый год выступал в журнале «Ясная Поляна» с задорными статьями, шедшими вразрез с установившимися в немецко-русской педагогике взглядами. Все это не имело никакого успеха. Теперь (в семидесятых годах) выступления Толстого в печати и на публичных диспутах привлекли общее внимание. Его идеи о народном образовании обсуждались не только педагогами: не было газеты или журнала, которые остались бы в стороне от этой полемики. Толстой делался центром внимания интеллигентной русской публики. Его азбуки не получили одобрения правительства и потому не могли распространяться в школах, не могли сразу занять подобающего им места. Тем не менее, первая его азбука и книги для чтения к ней (в общем довольно дорогие) в конце концов стали библиографическою редкостью. Вторая «Азбука» за 25 лет разошлась в 1 500 000 экземпляров.

Появление «Анны Карениной» было уже крупным

общественным событием. Книжки «Русского Вестника», в которых в течение нескольких лет печаталась «Анна Каренина», брались с бою: их с жадностью читали в салоне императрицы и в самых разнообразных слоях общества. Роман шел во многом вразрез с наиболее популярными идеями того времени. Критики, настроенные радикально, пытались ослабить успех, разъясняя реакционную (как им казалось) подоплеку романа. Но снова Толстой захватил публику; он стал выше моды. Положение его во главе русской беллетристики снова блистательно подтвердилось и окончательно, навсегда упрочилось. Достоевскому не все идеи романа пришлись по вкусу. И тем не менее он отнесся к нему восторженно. В «Дневнике Писателя» за 1877 год он приводит, между прочим, мнение об «Анне Карениной» одного из самых выдающихся русских беллетристов, «приговор которого он сам вполне разделял»:

«Это вещь неслыханная, это вещь первая. Кто у нас из писателей может поравняться с этим? А в Европе — кто представит хоть что-нибудь подобное? Было ли у них во всех их литературах, за все последние годы, и далеко раньше того, произведение, которое могло бы стать рядом?».

То была уже подлинная, непререкаемая, окончательная слава. Дальше добиваться в этой области было нечего.

Со славой пришли деньги. Хозяйство в Ясной Поляне не приносило много доходов. Но у Толстого было еще Никольское (в 100 верстах от Ясной Поляны) имение, перешедшее к нему от умершего в 1860 году старшего брата. Никольское находилось в черноземной полосе и без всяких хлопот давало около 5000 рублей в год. На эти деньги жила семья и время от времени находила даже возможным наезжать на месяц, на два в Москву. Когда начали притекать крупные доходы от продажи «Войны и мира», Толстой захотел закрепить их в земельной собственности. Он ищет для покупки имения. В 1869 году он совершает даже грандиозную поездку в Пензенскую губернию, надеясь в этой глуши выгодно купить землю. Покупка эта не состоялась. Между прочим он обратил внимание на дешевые Самарские степи. Он знал уже эти места, потому что еще перед женитьбой лечился здесь кумысом.

И в 1871 году Толстой, как 10 лет назад, почувствовал себя плохо. «Упадок сил и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет», — так сам он определяет свое положение. Софья Андреевна была убеждена, что нездоровье явилось результатом переутомления: как раз перед тем Лев Николаевич страстно отдался изучению греческого языка и чтению классиков. Он был очень счастлив, что «Бог наслал на

него эту дурь», но жена не разделяла его увлечения и видела в нем причину нездоровья мужа. Надо было лечиться. Посоветовавшись в Москве, Лев Николаевич решил ехать на кумыс, в те самые места Самарской губернии, в которых он был десять лет назад. За шесть недель лечения Толстой успел написать жене 14 писем, полных «больше, чем любовью». «С каждым днем, что я врозь от тебя, — писал он, например, — я все сильнее и тревожнее, и страстнее думаю о тебе, и все тяжелее мне. Про это нельзя говорить…» «Твои письма я не мог читать без слез, и весь дрожу, и сердце бьется. И ты пишешь, что придет в голову, а мне каждое слово значительно, и все их перечитываю…»

Лечение кумысом восстановило силы Толстого и вернуло ему обычную его жизнерадостность. В девственных Самарских степях он нашел подходящее имение в 2700 десятин за ничтожную плату по 7 р. за десятину. «Покупка эта, — писал он жене, — выгоды баснословной…» «Доход получается здесь в 10 раз против нашего, а хлопот и трудов в 10 раз меньше». Сделка состоялась в 1872 году. Толстой поехал в свое новое имение заводить дом и хозяйство. Через год уже вся семья отправилась летом в Самарские степи. Надежды Толстого на громадные доходы, которые должна была принести ему эксплуатация приобретенных земель, не оправдались. Самарский чернозем требует влаги. Засухи влекут за собой полнейший неурожай. Такой неурожай захватил эту местность в 1871–1873 годах. Башкиры и русские крестьяне растратили все свои запасы, заработки сократились до минимума. Грозил тяжелый голод. Толстой не мог оставаться равнодушным свидетелем народного бедствия. Он много и щедро помогал окружающим башкирам и крестьянам.

По словам Софьи Андреевны, она «убедила мужа основательно заняться этим вопросом». Толстой произвел целое расследование. Результатом анкеты явилось письмо его о надвигающемся голоде, напечатанное в «Московских Ведомостях». «Бедствие уже началось, и без ужаса нельзя видеть народ даже в настоящее время, летом, когда только начинается самый бедственный год, и впереди еще 12 месяцев до нового урожая, и когда еще есть кое-где заработки, хотя на время спасающие от голода…»

Не очень рассчитывая на желание местных правительственных органов отнестись к этому делу сериозно и искренно, Толстой написал также своей придворной тетке с просьбою вызвать императрицу на пожертвование. Выступление Толстого дало сериозные результаты. Со всей России поступило на помощь голодающим около двух миллионов рублей. Правительство обратило сериозное внимание на положение края.

Хотя покупка земли совершалась в трудный момент и не принесла никаких выгод, Толстой продолжал вести самарское хозяйство. И он, и семья его еще несколько раз выезжали летом в Самару. В 1878 году (уже во время начавшегося душевного кризиса) Лев Николаевич прикупил к своему имению еще несколько тысяч десятин земли по 13 рублей. Он пытался разводить в степях лошадей, и одно время в его табунах ходило до 400 голов. Но и здесь его хозяйственные предприятия не имели успеха и постепенно доведены были до минимума.

Во всяком случае можно сказать с уверенностью: к концу семидесятых годов Толстой был вполне обеспечен. Несмотря на большую семью, которой он не любил отказывать ни в чем существенном, он успел своим литературным трудом значительно приумножить состояние: в начале восьмидесятых годов он сам оценивал его в 600 000 рублей.

Все элементы «доброго, честного счастья», как понимал его в то время Толстой, были налицо. Слава, какой не пользовался при жизни ни один русский писатель; средства — более чем достаточные; семья — милая, дружная, веселая.

И в Ясной Поляне умели жить счастливо.

Лев Николаевич вставал довольно поздно и выходил из спальни в халате, со сваленной в кучу, нечесанной бородой и спускался вниз, в свой кабинет одеваться. Он выходил из кабинета свежий, бодрый, в серой блузе и шел в залу пить кофе. Дети в это время уже завтракали. Когда гостей не было, он сидел в зале недолго и со стаканом чая уходил к себе заниматься. Если был кто-нибудь из приезжих, Лев Николаевич начинал разговаривать, увлекался и никак не мог уйти. Заткнув одну руку за кожаный пояс, а в другой держа перед собой серебряный подстаканник с полным стаканом чая, он останавливался у дверей и часто подолгу, иногда по полчаса на одном месте и все говорил, говорил с особенным интересом и оживлением. Наконец, он уходил заниматься. Дети разбегались зимой по классным комнатам, а летом — в сад, на крокет, лаун-теннис, на гигантские шаги… Софья Андреевна садилась в зале шить что-нибудь для малышей или переписывать то, что не успела окончить ночью. Из деревни к ней часто стекались бабы с маленькими детьми и мужики — со своими болезнями, и она, выходя к ним, старалась лечить их и выдавала бесплатно домашние лекарства. В доме до 3–4 часов полнейшая тишина. «Лев Николаевич занимается!» Потом он выходил из кабинета и отправлялся купаться или на прогулку. Иногда с ружьем и собакой, иногда верхом, а иногда просто пешком. В пять звонили в колокол, который висел против дома. Дети бежали мыть руки.

Все собирались к обеду. Часто Лев Николаевич запаздывал. Он приходил сконфуженный, извинялся перед хозяйкой, наливал себе неполную серебряную рюмку настойки. Обычно он бывал очень голоден и ел жадно все, что попадалось под руку. Софья Андреевна останавливала его, прося не наедаться одной кашей; будут еще котлеты и зелень…

— У тебя опять печень заболит.

Но он не слушал, просил еще и еще, пока не наедался досыта.

Потом он рассказывал впечатления прогулки ярко, интересно. И всем весело. Он шутил с детьми и взрослыми, и никакое сумрачное настроение не могло устоять перед его оживлением. После обеда он уходил опять к себе заниматься, а в 8 часов снова вся семья собиралась вокруг самовара. Начинались разговоры, чтение вслух, музыка, пение, и часто взрослые вовлекали в эти занятия игравших тут же детей. Для последних день кончался в 10 часов. Но в зале еще долго слышались разговоры. Там играли в шахматы, в карты, спорили. Лев Николаевич садился за рояль. И Софья Андреевна, играя с ним в четыре руки, всеми силами старалась не потерять темпа. Иногда звучало пение, в котором особенно отличалась «тетя Таня» — тот самый «чертенок-Татьянчик», о котором так часто приходилось говорить выше. В 1868 году, после нескольких довольно сложных и тяжелых романов, она вышла замуж за друга своего детства, кузена Кузминского и вместе с мужем и детьми почти каждое лето проводила у Толстых. Летом вообще в Ясной Поляне был почти сплошной праздник. В эту милую семью неудержимо тянуло всех родственников. Кроме Кузминских, здесь часто гостили и другие члены семьи Берсов, а также графиня Мария Николаевна Толстая (сестра писателя) со своими подраставшими детьми, граф С. Н. Толстой, семья Дьяковых. Заезжали Феты и многие другие. Заботы о размещении и питании всего этого (иногда очень многочисленного) общества целиком падали на Софью Андреевну. Иногда съезды и семейные празднества (летом и зимой) создавали для нее почти непосильную работу. Так в январе 1865 года она писала сестре: «Решили, что будет великолепный бал и маскарад в Крещение… Такая пошла суета, весь дом пошел вверх дном. Лева и я устраивали трон… Варю одели пажом… Лиза была одета, как одеваются в Алжире… Душку Лева одел старым отставным майором… Работника кормилицей; Ваську Белку, сына повара, спеленали и дали ему на руки. Потом устроили лошадь из двух людей, а на лошади Душка. Уже наши все были одеты, 7-ой час, а Сережи нет. Мы уже стали отчаиваться, как вдруг колокольчики — и вваливается Сережа с огромной компанией, сундуком и разными штуками. Их повели в

мою спальню, они там одевались. Лева одевал своих в кабинете. Машенька своих у тетеньки в комнате. Я заботилась об освещении, угощении и, главное, о детях… Потом приехали музыканты… заиграли, двери отворились, вышли наши пары, впереди карлик, одетый чертом, потом пары Сережины… Все это с бубнами, шумом, хлопушками, тарелками, и сзади всех огромный почти до потолка великан, отлично сделанный… Эффект был такой, что и сказать тебе не могу. Пришла пропасть дворовых… а потом пошел уже такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощения и, наконец, бенгальский огонь… Я все больше сидела внизу, с детьми, меня, признаюсь, не радовала вся эта суета. Целые дни заботы об обедах, ужинах, постелях, угощении и проч… Пропировали до третьего часа. На другой день все остались у нас, мы ездили на двух тройках кататься, и все перегоняли друг друга, тоже с большим азартом…»

В 1871 году к дому пришлось сделать пристройку. И по случаю окончания работ, на рождественских праздниках опять был маскарад — вроде описанного. Между прочим, появился вожатый с двумя медведями и козой. Вожатым оказался приятель Толстого — Дьяков, медведями — два родственника, а козой — сам Лев Николаевич.

Очень шумно проходило обыкновенно Рождество, к которому вся семья начинала задолго готовить елочные украшения и подарки для крестьянских ребят.

Иногда торжества носили менее бурный и более трогательный характер. Кузминская описывает один парадный обед в именины Софьи Андреевны:

«Наступило 17 сентября. Настроение у всех и у меня было праздничное. Все мы нарядные, в легких белых платьях с цветными лентами. Обеденный стол украшен цветами, и новая терраса залита солнцем. Помню, как шумно и весело в 5 часов вечера садились мы за стол. И вдруг из аллеи сада послышался оркестр. Он заиграл уцертюру из оперы «Фенелла» La muette de Portici («Охотничий домик в Портичи» (фр.)), который так любила Соня. Все мы, кроме Сони, знали, что Лев Николаевич просил полковника прислать оркестр, но должны были хранить это втайне. Не берусь описывать выражение лица Сони! Тут было все: удивление, испуг, что это сон, радость, умиление, когда она увидела и поняла выражение лица Льва Николаевича. Он сиял не меньше ее…»

Лев Николаевич вообще поражал тогда нежностью к молодой супруге. Он даже выучился играть на гитаре и пел: «Скажите ей, что пламенной душою…»

Да, счастливое было время! И Толстой мог, не без основания, писать своей тетке в 1872 году: «Моя жизнь все та же, т. е. лучше не могу желать».

Глава шестая
Кризис

1

Среди этого безоблачного счастья, порой вдруг Толстым овладевают глубоко печальные мысли — мысли о смерти.

Еще в 1863 году он писал: «Я качусь, качусь под гору смерти, и едва чувствую в себе силы остановиться. А я не хочу смерти, я хочу и люблю бессмертие…»

Такими отметками пестрят его дневники и письма шестидесятых и семидесятых годов.

С течением времени эти мысли появляются все чаще. Они углубляются и приобретают над ним некоторую власть. Иногда этому содействует чтение.

«Знаете ли, что было для меня нынешнее лето? — спрашивает он Фета в 1869 году. — Неперестающий восторг перед Шопенгауэром и ряд духовных наслаждений, которых я никогда не испытывал. Я выписал все его сочинения и читал и читаю (прочел и Канта). И верно ни один студент в свой курс не учился так много и столь многого не узнал, как я в нынешнее лето. Не знаю, переменю ли я когда мнение, но теперь я уверен, что Шопенгауэр — гениальнейший из людей…»

Толстого тянут к себе люди, которые, «несмотря на здравое отношение к жизни», всегда стоят на самом краю ее и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность, в неизвестность, то в сансару. Заглядывание в нирвану, по его мнению, укрепляет зрение. Ему хочется анализировать жизнь, выходя мысленно за ее пределы.

Такие опыты, при совершенно исключительной силе воображения Толстого, не могли проходить безнаказанно. Конечно, он еще всецело предан житейской суете — сансаре, — но временами представление о нирване уже властно сжимает холодным ужасом его сердце.

2

В конце августа 1869 года Толстой прослышал, что в глуши Пензенской губернии выгодно продается имение. Он выехал туда, захватив в собой слугу Сергея. От Нижнего Новгорода предстояло

ехать на лошадях около 300 верст. По дороге он остановился на ночь в небольшом городке Арзамасе. Здесь совершенно неожиданно претерпел он какие-то тяжелые переживания.

Со следующей остановки он писал жене:

«Что с тобой и детьми? Не случилось ли что? Я второй день мучаюсь беспокойством. Третьего дня в ночь я ночевал в Арзамасе, и со мной было что-то необыкновенное. Было два часа ночи, я устал страшно, хотелось спать и ничего не болело. Но вдруг на меня нашла тоска, страх, ужас такие, каких я никогда не испытывал. Подробности этого чувства я тебе расскажу впоследствии, но подобного мучительного чувства я никогда не испытывал, и никому не дай Бог испытать. Я вскочил, велел закладывать. Пока закладывали, я заснул и проснулся здоровым. Вчера это чувство в гораздо меньшей степени возвратилось во время езды, но я был приготовлен и не поддался ему, тем более, что оно и было слабее. Нынче чувствую себя здоровым и веселым, насколько могу быть без семьи. В эту поездку я в первый раз почувствовал, до какой степени я сросся с тобой и с детьми. Я могу оставаться один в постоянных занятиях, как я бываю в Москве, но как только без дела, я решительно чувствую, что не могу быть один…»

Какие подробности рассказал Толстой жене при свидании? Этого мы не знаем. Но вот, через 15 лет, он пишет рассказ «Записки сумасшедшего», напечатанный только после его смерти. Рассказ, несомненно, автобиографичен. Герой повести направляется в Пензенскую губернию, чтобы выгодно купить имение. С ним слуга Сергей. От Нижнего они едут на лошадях. Останавливаются ночевать в Арзамасе. И вдруг, — рассказывает Толстой, — пробуждение.

«Заснуть, я чувствовал, не было никакой возможности. Зачем я сюда заехал? Куда я везу себя? От чего, куда я убегаю? Я убегаю от чего-то страшного, и не могу убежать. Я всегда с собою, и я-то и мучителен себе. Я — вот он, я весь тут. Ни пензенское, никакое имение ничего не прибавит и не убавит мне. А я-то надоел себе, несносен, мучителен себе. Я хочу заснуть, забыться и не могу. Не могу уйти от себя.

Я вышел в коридор. Сергей спал на узенькой скамье, скинув руку, но спал сладко, и сторож с пятном — спал. Я вышел в коридор, думая уйти от того, что мучило меня. Но оно вышло за мной и омрачило все. Мне также еще больше страшно было. «Да что это за глупость, — сказал я себе, — чего я тоскую, чего боюсь?»

— Меня, — неслышно отвечает голос смерти. — Я тут. Мороз подрал мне по коже. Да, смерти. Она придет, она — вот она, а ее

не должно быть. Если бы мне предстояла действительно смерть, я не мог испытывать того, что испытывал. Тогда бы я боялся. А теперь я не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, а вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздирание было ужасное. Я попытался стряхнуть этот ужас. Я нашел подсвечник медный со свечой обгоревшей и зажег ее. Красный огонь свечи и размер ее, немного меньше подсвечника, — все говорило то же. Ничего нет в жизни, есть смерть, а ее не должно быть. Я пробовал думать о том, что занимало меня: о покупке, о жене. Ничего не только веселого не было, но все это стало ничто. Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было, но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, — такая же душевная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно. Кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно. Как-то жизнь и смерть сливались в одно. Что-то раздирало мою душу на части и не могло разорвать. Еще раз прошел посмотреть на спящих, еще раз попытался заснуть; все тот же ужас, — красный, белый, квадратный. Рвется что-то и не разрывается. Мучительно, и мучительно сухо и злобно, ни капли доброты я в себе не чувствовал, а только ровную, спокойную злобу на себя и на то, что меня сделало…»

Он пробует молиться, хотя давно потерял веру. Не помогает. Наконец, на свежем воздухе, в езде, в обществе людей тоска проходит. Но он чувствовал, что нечто новое легло ему в душу и отравило прежнюю его жизнь.

Похоже, что яркое видение смерти и было содержанием того чувства, подробности которого Толстой обещал передать жене при свидании. В семье оно навсегда получило название «арзамасской тоски». Но в ту пору видение это, казалось, прошло бесследно: призрак смерти рассек своими крылами счастливую жизнь Толстого и… исчез. Все осталось по-старому. Толстой снова был энергичен, весел, жизнерадостен. Правда, в силе его воображения таилась опасность рецидива подобных переживаний. Он чувствовал это и принимал свои меры. Долгое время дома он был гарантирован от «арзамасской тоски». Уезжая, он всегда брал с собой кого-нибудь из семьи. Припадки повторялись. Об этом имеются смутные указания в источниках. Но, по-видимому, они не носили в дальнейшем той грозной формы, которую описал Толстой в приведенном рассказе. Это скорее были приступы мысли о тщете всего окружающего, тоскливые настроения, остановки кипучей и счастливой жизни. Чувственного

представления смерти, которое потрясло Толстого в Арзамасе, уже не появлялось. Мимолетные настроения проходили, и снова он был счастлив, снова не мог желать ничего лучшего…

Однако, призрак смерти не надолго оставил Толстого. 9-го ноября 1873 года, после 11 лет благополучной жизни, в семье впервые появилась смерть: умер полуторагодовалый мальчик Петя. Софья Андреевна очень горевала. Она писала сестре: «Страдал он, кажется, мало, спал много во время болезни, и не было ничего страшного, ни судорог, ни мучений, и за то слава Богу. И даже и то я считаю милостью, что умер меньший, а не один из старших. Нечего говорить, до чего все-таки тяжела эта потеря… Прошло уже десять дней, а я хожу все как потерянная, все жду услыхать, как бегут быстренькие ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан и ни один не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей я брала его к себе и забавлялась им… И теперь все осталось, но пропала вся радость, все веселье жизни… И пошла опять теперь наша жизнь по-старому, и только для меня одной потух радостный свет в нашем доме, — свет, который давал мне веселый, любящий добряк Петя и которым освещались все мои самые грустные минуты…»

20 июня 1874 года умерла воспитательница Толстого — Татьяна Александровна Ергольская.

«Мы третьего дня похоронили тетушку Татьяну Александровну, — писал Толстой. — Она медленно и равномерно умирала, и я привык к умиранию ее, но смерть ее была, как и всегда смерть близкого и дорогого человека, совершенно новым, единственным и неожиданно поразительным событием…»

Прошло еще полгода. И вот во вьюжный февральский день Толстые снова на кладбище: после страшных трехнедельных мучений умер десятимесячный их сын Николушка.

В том же году в конце дети Толстых болели коклюшем. Ухаживая за ними, Софья Андреевна заразилась и в припадке этой болезни преждевременно родила девочку, которая скоро умерла. Мать была при смерти.

А через месяц (в конце декабря 1875 года) скончалась в доме Толстых тетушка Пелагея Ильинишна Юшкова, недавно переехавшая в Ясную Поляну из монастыря. Это была та самая тетушка, у которой Толстой прожил свою юность в Казани. С ее смертью (очень мучительной) связаны были у Толстого какие-то особенные переживания: хотя он никогда не был особенно близок с этой старушкой, но смерть ее, по его уверению, «подействовала на него так, как никакая смерть не действовала…»

Странное впечатление производят эти пять смертей в течение двух лет! Словно кто-то последовательно и неуклонно, через определенные промежутки времени, стучался в душу Толстого и напоминал ему о потустороннем мире…

В то же время почти беспрерывно сериозно болела Софья Андреевна: она худела, кашляла, испытывала тяжелые боли в спине…

Огорченная и больная, она писала сестре: «Роман Левочки («Анна Каренина») печатается и говорят, что имеет большой успех. А во мне странное это возбуждает чувство: у нас в доме столько горя, а нас везде так празднуют».

Переживания Льва Николаевича были гораздо глубже и значительнее.

По его словам, с 1874–1875 годов он стал все чаще и чаще чувствовать «остановки» жизни. Среди суеты кипучей деятельности он вдруг останавливался и спрашивал себя: «Зачем?» «ну, а потом?» И ему казалось в такие минуты, что, не зная зачем, нельзя ничего делать, нельзя жить. Его очень занимало хозяйство в самарских степях. И вдруг ему приходит в голову вопрос: «Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей… ну, и что же из этого? что же потом?»

Ответа не было.

Или, рассуждая о благосостоянии народа, он вдруг спрашивал себя: «А мне что за дело?»

Или, думая о своей литературной славе, он говорил себе: «Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, — ну, и что ж?!..» Перед лицом надвигавшейся, неизбежной смерти — ответов не было.

«Дела мои, — думал он, — какие бы они не были, все забудутся — раньше, позднее, да меня-то не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить — вот что удивительно! Можно жить только покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это — только обман, глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто жестоко и глупо».

Воображение у него было слишком живо. Ужас вечной тьмы, смерти был слишком велик. И среди способов избавления он — трудно поверить! — все чаще думал о самоубийстве. Он, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где он каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни.

Давно, почти двадцать лет назад Толстой испытал первые острые припадки отвращения к жизни. То было по случаю смерти его любимого брата. «Нельзя уговорить камень, чтобы он падал кверху, а не книзу, куда его тянет. Нельзя смеяться шутке, которая наскучила. Нельзя есть, когда не хочется. К чему все, когда завтра начнутся муки смерти со всей мерзостью лжи, самообмана, и кончится ничтожеством, нулем для себя…»

Но тогда в нем еще кипели силы. Жажда работы, жажда славы, жажда личного счастья вернулись к нему, и скоро он снова был поглощен жизненным круговоротом.

Иначе обстояло дело теперь. Ему было уже около пятидесяти лет. Казалось, все было испытано, все достигнуто. У него была «добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети, большое имение, которое без труда с его стороны росло и увеличивалось». Он был уважаем близкими и знакомыми больше, чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, без особенного самообольщения, что имя его славно.

Так он говорил. В действительности его завоевания шли гораздо дальше. Он получил все, чего добивался в жизни. Его слава, его материальные средства, его личное счастье не оставляли желать ничего лучшего.

И все это оказалось более пресным, чем представлялось издали. При силе воображения Толстого, наслаждения, пока он их добивался, поглощались вперед. Налет пресыщения стал покрывать его счастливую жизнь.

Конечно, если бы к нему явилась волшебница и спросила, чего он хочет? — он и теперь еще мог ответить только одно: «пусть все останется по-старому!» Но ведь именно только этого не могла ему обещать волшебница. Буйный рост его сил прекратился. В дальнейшем предстоял спуск с горы, ослабление физических и умственных сил, болезни. А на горизонте уже маячил призрак смерти.

Толстой требовал для себя бессмертия. Могла ли волшебница дать его?

Еще недавно он надеялся углубить понимание жизни сосредоточенной мыслью о смерти.

Но при холодном свете надвигающейся нирваны обнаружилось все-ничтожество, вся бессмыслица счастливой сансары.

Какой смысл человеческого существования, если он сам, Толстой и его слава и его семья должны превратиться в ничто?

И его собственные мысли и настойчивые экскурсии в область науки и философии привели его к решению, казалось, бесспорному: жизнь людей — бессмыслица. И надо отметить:

припадки его тоски вызывались не только боязнью смерти, но и ужасом перед бессмыслицей жизни, кончающейся смертью.

Припадки эти повторялись. И его душа снова и снова мучительно разрывалась с телом. В помянутых выше «Записках сумасшедшего» он писал: «Я живу, жил и должен жить, и вдруг — смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть?.. Убить себя сейчас же? Боюсь. Дожидаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть. Зачем? чтобы умереть?..»

И Софья Андреевна в конце 1876 года пишет сестре: «Левочка постоянно говорит, что все кончено для него, скоро умирать, ничто не радует, нечего больше ждать от жизни».

Характерная деталь его настроений в те тяжелые дни: в восьми частях «Анны Карениной» — 239 глав. Только одна из них озаглавлена. И заглавие это: «Смерть» (XX глава пятой части).

3

«Как мне спастись? Я чувствую, что погибаю. Живу и умираю, люблю жизнь и боюсь смерти — как мне спастись?»

Так формулировал Толстой свое положение в июне 1878 года.

«Исповедь» развертывает во всех деталях яркую картину психологического процесса, заставившего его искать спасения в религии.

Он оглядывался на людей своего круга и образования. Громадное большинство из них принадлежало к числу неверующих. Среди них он не нашел ответа на мучившие его вопросы.

Он видел людей или не понимающих вовсе вопроса, или понимающих, но заглушающих его пьянством жизни — эпикурейством, или понявших и прекращающих жизнь самоубийством, или понявших и по слабости доживающих отчаянную жизнь.

Не лучше обстояло дело с верующими людьми его круга. Живя в достатке и избытке, они старались увеличить или сохранить его, боялись лишений, страданий, смерти и жили, удовлетворяя похотям, жили также дурно, если не хуже, чем неверующие.

Толстой нашел спасение в идеализации жизни «настоящего рабочего народа». Ему представилось, что эти люди не уклоняются от мучившего его вопроса и «с необыкновенной ясностью отвечают на него»; несмотря на все лишения, «они довольны жизнью; они живут, страдают, приближаются к смерти со спокойствием, чаще же всего с радостью»; они лишены почти

всех утех жизни и все-таки испытывают величайшее счастье…

Такие наивные представления успокоили его. Он решил заимствовать у народа его стойкое и уверенное отношение к жизни и смерти. Он слушал разговоры мужиков о Боге, о вере, о жизни, о спасении — и, ему казалось, что знание веры открывалось ему, и он «все больше и больше понимал истину». Его друг Страхов рассказывает, как Толстой однажды повел его с собой на шоссе (четверть версты от дома). Они сейчас же нашли на нем богомолок и богомольцев. «Начались разговоры и удивительные рассказы. Верстах в двух оказались небольшие поселки и там два постоялых двора для богомольцев (их держали не для выгоды, а для «спасения души»)… Человек восемь разного народа, старики, бабы, свободно занимались каждый своими делами: кто ужинал, кто Богу молился, кто отдыхал. Кто-нибудь непременно говорил, рассказывал, толковал… Послушать было очень любопытно…»

Чему же научили Толстого русские мужики, богомольцы и странницы?

Смысл, который придает жизни русский трудовой народ, Толстой формулирует так: «Всякий человек произошел на этот свет по воле Бога. И Бог так сотворил человека, что всякий человек может погубить свою душу или спасти ее. Задача человека в жизни спасти свою душу; чтобы спасти свою душу, нужно жить по-Божьи, а чтобы жить по-Божьи, нужно отрекаться от всех утех жизни, трудиться, смиряться, терпеть и быть милостивым».

Это понимание жизни, от которого Толстой был в восторге, исходило, по его мнению, от христианского учения, усвоенного народом в преданиях, догматах и обрядах православной церкви. Надо было или отказаться от народного понимания смысла жизни, или принять его со всеми основами, на которых смысл этот утверждался (таинства, церковные службы, посты, поклонение мощам и иконам).

И как ни странно было Толстому многое, что входило в веру народа, он принял все: ходил к службам, становился утром и вечером на молитву, постился, говел. И первое время разум его не противился ничему. Во что бы то ни стало ему нужен был такой смысл жизни, который не уничтожается смертью. Казалось, он нашел его. На остальное он закрыл глаза.

Замечательно, что двадцать лет назад народное понимание смысла жизни казалось Толстому совершенно не связанным с религией. Объясняя мысль своего рассказа «Три смерти», он писал, между прочим: «Мужик умирает спокойно именно потому, что он не христианин. Его религия другая, хотя он по обычаю

исполнял христианские обряды; его религия — природа, с которой он жил. Он сам рубил деревья, сеял рожь и косил ее, убивал баранов, и рожались у него бараны, и дети рожались, и старики умирали, и он знает твердо этот закон, от которого он никогда не отворачивался… и прямо, просто смотрел ему в глаза».

Как бы то ни было, теперь, в конце семидесятых годов, Толстой уверен, что прельстившее его миросозерцание мужика целиком покоится на православной вере, и готов принять и ее, потому что, как он выражается, «деваться некуда».

Начало религиозных исканий Толстого воспроизведено на последних страницах «Анны Карениной». Читая эти страницы, Достоевский усомнился в прочности веры, добытой помещиком Левиным у мужика. Он даже думал, что это — еще не вера. Да вряд ли у таких, как Левин, и может быть окончательная вера. «В душе его, — говорил Достоевский, — как он ни старайся, остается оттенок чего-то, что можно, я думаю, назвать праздношатайством — тем самым праздношатайством, физическим и духовным, которое, как он ни крепись, а все же досталось ему по наследству… А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок, и разом все рухнет…»

Предположения Достоевского оправдались.

Принять целиком народную веру Толстой не был способен. «Хлопотливый ум» неизменно производил свою критическую работу. И все-таки, до поры до времени, Толстой упрямо старался вести строго православный образ жизни. Исполняя обряды церкви, он смирял свой разум и подчинял себя тем верованиям, которыми жил вокруг него русский трудящийся народ.

Раз, приехав в Петербург, он попал в семью своей придворной тетушки во время великого поста. Семья была строго православная. Но за обедом, ввиду слабости и болезни старушки-хозяйки дома, все ели скоромное. Толстой был возмущен. Он морщился и явно был не в духе; по выходе из-за стола он тотчас подошел к графине Александре Андреевне и спросил, почему они не постились. Она объяснила.

— Разве вам это неприятно?

— Конечно, когда принадлежишь к церкви, наименьшее, что можно сделать, это следовать ее уставам…»

Лев Николаевич соблюдал посты с необыкновенной строгостью. Как-то он заболел. Врач потребовал перехода на скоромную пищу. Толстой не посмел сделать этого без разрешения церкви: он поехал в монастырь и испросил там у старца разрешение на переход к скоромной пище.

В 1877 году в Ясной Поляне поселился в качестве учителя некто Алексеев. То был откровенный атеист и когда-то революционер. Сойдясь близко с Толстым, он иногда позволял себе высказывать удивление, как это Лев Николаевич, со своим развитием, пониманием и искренностью мог выполнять все обряды. Как-то они говорили об этом в гостиной в ясный морозный день. Лев Николаевич сидел против окна, замерзшего и пропускавшего сквозь узоры мороза косые лучи заходящего солнца.

— Вот посмотрите на эти узоры, освещенные солнцем, — сказал Толстой. — Мы видим только изображение солнца на этих узорах, но знаем вместе с тем, что за этими узорами есть где-то далекое, настоящее солнце, источник того света, который и производит видимую нам картину. Народ в религии видит только это изображение, а я смотрю дальше и вижу, или по крайней мере знаю, что есть самый источник света. И эта разница нашего отношения не мешает нашему общению; мы оба смотрим на это изображение солнца, только разум наш до различной глубины проникает его.

Иногда, впрочем, Толстой приходил в уныние: при всем желании, он не мог слиться с народом.

— Нет, не могу, тяжело, — говорил он, возвращаясь из церкви. — Стою я между ними, слышу, как хлопают их пальцы по полушубку, когда они крестятся, и в то же самое время сдержанный шепот баб и мужиков о самых обыденных предметах, не имеющих никакого отношения к службе. Разговор о хозяйстве мужиков, бабьи сплетни, передаваемые шепотом друг другу в самые торжественные минуты богослужения, показывают, что они совершенно бессознательно относятся к нему.

Трудности шли дальше. Сначала ему необходимо было верить, чтобы жить. И он скрывал от себя противоречия и неясности вероучения. Но мало-помалу он вынужден был сознаться, что две трети церковных служб ему не понятны и не поддаются попыткам хитроумных объяснений. Лгать себе сознательно в деле веры он не хотел и не мог.

Особенно смущали его молитвы о покорении под ноги врагов и супостатов. Перед причастием он лишь со смущением мог исповедывать всенародно свою веру в то, что перед ним не хлеб и вино, а тело и кровь Христовы: этому в действительности он не мог заставить себя верить. Ему трудно было принимать участие в почитании праздников: ведь главнейшие из них (кроме Рождества Христова) являлись воспоминанием о чудесах, которым он не верил. Особенно трудным казалось ему понять и представить себе воскресение Христа из мертвых…

Сколько раз завидовал он от души мужикам, их безграмотности и неучености!.. Ведь в этой толпе только для него, несчастного, — становилось все яснее, что «в церковном учении истина тончайшими нитями переплетена с ложью».

Так он мучился три года.

Но явились вопросы жизни, которые надо было разрешить. Вопросы эти решались церковью противно, как казалось ему, самым основам той веры, которой он жил. Его сериозно смущало враждебное отношение православия к другим вероисповеданиям (католичеству, протестантству) и к сектам русских раскольников. «Если два утверждения друг друга отрицают, — думал он, — то ни в том, ни в другом нет той единой, бесспорной истины, какою должна быть вера».

Душа его не могла также примириться с отношением православной церкви к войне, которую вела в то время Россия с Турцией, и к казням преступников уголовных и политических».

Толстой пробовал найти примирительные объяснения в догматических сочинениях. Он ездил за советом к митрополитам, архиереям; посещал монастыри и излагал свои сомнения схимникам и монахам.

Созерцая постоянно двигавшиеся по шоссе, мимо Ясной Поляны, вереницы странников из народа, шедших на поклонение мощам в Киев, он сам решился ехать туда и на месте узнать, чему учат народ монахи и старцы знаменитой Киевской Лавры…

Все было напрасно. Никто не мог разъяснить удовлетворительно мучивших его сомнений. Мало того, ему приходилось вступать с духовными лицами в пререкания, уличать их в незнании писания. При страстности его темперамента часто озлобление спора только взвинчивало и не давало душе никакого успокоения и мира с самим собою. Он чувствовал, что чем больше вникает в речи духовенства, тем больше отдаляется от истины и идет к пропасти.

Он был убежден, что в учении есть истина. Но несомненно в нем была и ложь. Необходимо было отделить ложь от истины.

Однажды он слушал урок священника детям из катехизиса. Все это показалось ему так безобразно… Умные дети так очевидно не только не верили этим словам, но и не могли не презирать их. Ему захотелось изложить в катехизической форме то, во что он верил. Он попытался. Но для него это оказалось трудным и даже невозможным.

Так подошел Толстой к критическому изучению основ вероучения — священного писания, толкований к нему, догматических богословских сочинений.

4

К началу душевного кризиса Льва Николаевича Софье Андреевне было уже за тридцать лет. Еще девочкой, почти ребенком она подметила у своего будущего мужа чрезвычайную «переменчивость суждений». Выйдя замуж, она не тяготилась этим свойством любимого человека. Но постепенно должна была, конечно, происходить эмансипация. Живя в тесной дружбе с великим человеком, она росла духовно. Пока вкусы и интересы их не расходились, она всеми силами души стремилась к поставленным им целям. Всю свою неутомимую и хлопотливую энергию она вкладывала в разраставшуюся семью, всячески помогая мужу в его стремлениях к достатку и славе. По свидетельству самого Льва Николаевича и всех окружавших, основными чертами ее характера были простота, прямота и искренность. Но с этими свойствами соединялась у нее некоторая душевная грубость, мало заметная под чарами молодости и красоты. Теперь, в зрелом возрасте эта грубость все больше давала себя чувствовать. Росла с годами и самоуверенность, в которой еще в первое время супружеской жизни Лев Николаевич обвинял ее. Начав с участия во всех интересах мужа, она, по мере своей эмансипации, отмежевалась от некоторых его увлечений (физический труд в сельском хозяйстве, возня с крестьянскими ребятишками в школе). В особенности приходила она в волнение, когда эти временные увлечения отрывали Толстого от художественной работы. Она любила его талант. К тому же он приносил им славу и деньги. А к славе и деньгам Софья Андреевна была всегда чувствительна. Ревнуя мужа к его переменчивым увлечениям, она теперь уже не хотела скрывать враждебного к ним отношения. Теперь она уже откровенно «презирала» все эти азбуки, арифметики, грамматики и даже школы, которые отвлекали его от «настоящего дела».

Всякие религиозные искания были ей совершенно чужды. Самоуверенно и спокойно она считала себя хорошею христианкою, в пределах светских приличий исполняла требования церкви и воспитывала детей в официально православном духе.

Душевный кризис Толстого был ей мало понятен. Болезни и смерти волновали ее, нарушая безоблачные дни предшествовавшего счастья. Но призрак смерти, овладевший исключительным воображением ее мужа, был бессилен воздействовать на ее житейский здравый смысл.

Сначала она думала, что это — новые причуды. Она сердилась, когда он к каждому слову приплетал Господа-Бога или

заканчивал свои письма к ней словами: «Господи помилуй!». «Во всем воля Божья!» и т. п.

Потом, присматриваясь к его мучениям, она решила, что это проявление болезни, требовала сериозного лечения, посылала его на кумыс и сама поднималась со всею семьею в самарские степи, хотя новые владения не пользовались ее симпатиями.

Всматриваясь в тяжелые переживания мужа, она пыталась примириться с ними: ведь в конце концов овладевшая им религиозная мания не нарушала устоев жизни семьи. Все протекало в приличных православных рамках. Конечно, она желала утишить чрезмерный религиозный пыл мужа. Но за 12–15 лет совместной жизни она убедилась, что его духовные процессы не поддавались воздействию со стороны. Все проходило само собой. Надо было предоставить все благотворному влиянию времени.

Их личные отношения не изменились. Приливы и отливы любви совершались по-старому. В общем все-таки это было семейное счастье.

Письма Толстого жене в самые критические годы его испытаний — полны прежнею нежностью. Вот, например, в 1876 году он говорит: «Я иногда писал тебе, ничего не говоря о моих чувствах, потому что в ту минуту, как писал, не был так расположен. А в эту поездку всякую минуту думаю о тебе с нежностью и готов все письмо наполнить нежными словами. Прощай, душенька, милая, я так радуюсь тому чувству, которое имею к тебе, и тому, что ты есть на свете…»

Или в 1877 году: «Прощай, душенька, не получал еще письма от тебя. Без тебя я стараюсь о тебе не думать. Вчера подошел к твоему столу и как обжегся, вскочил, чтобы живо не представлять тебя себе. Также и ночью не гляжу в твою сторону…»

Или в 1878 году: «Только бы Бог дал, все было бы благополучно во время нашей разлуки, а то я люблю это чувство особенной, самой высокой, духовной любви к тебе, которую я испытываю сильнее в разлуке с тобою. Теперь главный вопрос: ехать тебе (в Самару) или нет? По-моему, нет, и вот почему: я знаю, что главное для тебя — это я. Я скорее желаю вернуться, чем оставаться…»

Но вот в православии Толстого стали замечаться колебания и склонность восстать против церкви. Это был новый удар для Софьи Андреевны. Она неспособна была переживать с мужем перипетии его исканий и потому часто поведение его казалось ей совершенно непонятным и неожиданным.

С некоторых пор она ввела в доме строго православный режим. Замечая колебания мужа, она всячески усиливала

исполнение обрядов и обычаев православной веры. Весь дом должен был строго соблюдать посты. И вдруг произошел такой случай. Двум учителям — гувернеру французу и атеисту Алексееву готовили отдельно скоромное. Как-то им подали вкусные скоромные котлеты. Лакей отставил блюдо на окно. Лев Николаевич неожиданно сказал сыну: «Ильюша, а дай-ка мне котлет». Сын подал. Лев Николаевич с аппетитом съел скоромную котлету и с тех пор перестал поститься.

Софья Андреевна не знала, что и думать.

В конце этого периода она писала сестре: «Левочка же теперь совсем ушел в свое писание. У него остановившиеся странные глаза, он почти ничего не разговаривает, совсем стал не от мира сего и о житейских делах решительно неспособен думать…» «Левочка читает, читает, читает… пишет очень мало, но иногда говорит: «теперь уясняется», или: «ах, если Бог даст, то то, что я напишу, будет очень важно!»… «Левочка все работает, как он выражается; но — увы! — он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтобы показать, как церковь несообразна с учением Евангелия. Едва ли в России найдется десяток людей, которые этим будут интересоваться. Но делать нечего, я одно желаю, чтобы уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть или предписывать ему умственную работу такую или другую никто в мире не может, даже он сам в этом не властен».

А Толстой между тем уже не впадал в полное уныние. Он начинал громадную критическую работу в совершенно новой области, но был уверен, что пробьет грунт до материка, добьется истины и тогда воспарит высоко.

22 октября 1879 года он писал в записной книжке: «Есть люди мира, тяжелые, без крыл. Они внизу возятся. Есть из них сильные — Наполеон, пробивают страшные следы между людьми, делают сумятицу в людях, но все по земле. Есть люди, равномерно отращивающие себе крылья и медленно поднимающиеся и взлетающие. Монахи. Есть легкие люди, воскрыленные, поднимающиеся легко от тесноты и опять спускающиеся, — хорошие идеалисты. Есть с большими, сильными крыльями, для похоти спускающиеся в толпу и ломающие крылья. Таков я. Потом бьется со сломанным крылом, вспорхнет сильно и упадет. Заживут крылья, воспарю высоко. Помоги Бог. Есть с небесными крыльями, нарочно из любви к людям спускающиеся на землю (сложив крылья) и учат людей летать. И когда не нужно больше, улетят — Христос».

Глава седьмая
Догма и жизнь

1

Испытал ли Толстой полное духовное обновление?

Был ли в жизни его резко выраженный кризис?

На этот счет существуют различные мнения. Сам Толстой совершенно определенно описывает муки своего духовного перерождения и в «Анне Карениной», и в «Исповеди». Путем различных сопоставлений легко отнести этот резкий процесс ко второй половине семидесятых годов. Мало того. Когда мысль Толстого кристаллизовалась, когда он дошел в своих исканиях до некоторых выводов и до относительного спокойствия, он писал (в 1884 году): «Пять лет тому назад, я поверил в учение Христа — и жизнь моя вдруг переменилась: мне перестало хотеться того, чего прежде хотелось. То, что прежде казалось мне хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Со мною случилось то, что случается с человеком, который вышел за делом и вдруг дорогой решил, что дело это ему совсем не нужно, — и повернул домой. И все, что было справа, — стало слева, и все, что было слева, — стало справа: прежнее желание быть как можно дальше от дома — переменилось на желание быть как можно ближе от него. Направление моей жизни — желания мои стали другие: доброе и злое переменилось местами. Все это произошло оттого, что я понял учение Христа не так, как я понимал его прежде».

Казалось бы, ясно. Но нет! иные исследователи и даже люди, близкие Толстому, готовы утверждать, что никакого переворота не произошло, и все, что впоследствии Толстой высказал в своих религиозно-философских сочинениях, жило в нем всегда. Среди других подтверждений этой неожиданной мысли приводится обыкновенно та запись дневника от 5 марта 1855 года, в которой двадцатишестилетний Толстой собирался создать новую религию, соответствующую духу времени. Запись эта, действительно, замечательна, так как во всех деталях своих оказалась пророческой. Но строить приведенные выводы на таком факте нельзя. На протяжении жизни Толстого не раз выплывали наружу странные мысли и сны, имевшие для него такое же значение, как для героини «Анны Карениной» — ее вещий сон. Такие неожиданные «пророчества» у Толстого ничем не были связаны с

поступками его в ближайшем и отдаленном будущем. Толстым двигали другие силы. Невозможно решить: были ли то проявления глубин подсознательной жизни, или просто случайные совпадения мимолетной мысли с отдаленною во времени действительностью. В частности, запись дневника 5 марта 1855 года — лишь неожиданно явившаяся мечта очень честолюбивого молодого человека: он хочет ни более, ни менее, как создать для человечества новую религию. Так же мечтал он за три года до этого «составить истинную, правдивую историю Европы нынешнего века» и находил, что это «цель на всю жизнь». Или в другой раз он писал в дневнике: «посвящу остальную жизнь на составление плана аристократического избирательного соединения с монархическим правлением на основании существующих выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю Тебя, Господи, дай мне силы…»

Подобные мечты ровно ни к чему не обязывали. И в течение 20 лет после записи 1855 года и даже в половине семидесятых годов Толстой вовсе и не помышлял о создании новой религии.

И тем не менее, в явно неправдоподобных утверждениях близких Толстому людей, несомненно, есть доля правды.

Элементы последующих сочинений и последующего учения можно легко указать у Толстого и до половины семидесятых годов. И гораздо чаще и больше — в его полусознательном, интуитивном, художественном творчестве, чем в дневниках, статьях и письмах. Стержень оставался тот же. В юном Толстом уже были заложены, как и у всякого другого, его будущие возможности. Но все же кризис в половине семидесятых годов несомненно был. И кризис весьма бурный. Однако, можно ли считать этот кризис в жизни Толстого единственным и последним?

Нет.

Отличительной чертою Толстого надо признать его вечные перемены. Духовный кризис может случиться с каждым. У Толстого из таких кризисов состоит вся жизнь.

Читая и перечитывая «Войну и мир», трудно отрешиться от мысли, что оба героя романа (князь Андрей Болконский и Пьер Безухов) близки автору по духу: один олицетворял то, что Толстой называл своим «умом ума» (разум, анализ, мысль); другой — его «ум сердца» (вера, синтез, чувство). Они — люди совершенно различные, а по преобладанию разума или чувства являются натурами, прямо противоположными. Одна черта у них, однако, общая. Их взгляды, убеждения, миросозерцание находятся в состоянии неустойчивого равновесия. В каждую данную минуту можно ждать в этой области самых решительных

перемен. Такие перевороты связаны с событиями личного свойства, — болезнью, неудачами, пресыщением, смертной тоской и т. д. Вдруг в голове свертывается тот главный винт, на котором держалась жизнь, связь между прежде понятными явлениями рассыпается, «мир заваливается», наступает хаос. Потом, постепенно, разрушенный мир начинает снова восстановляться в душе на иных и, кажется, уже незыблемых основаниях. Но наступают новые события, и опять все разваливается. Основы характеров остаются неизменными. Но невозможно представить себе последнюю стадию развития их духовной жизни, последнее миросозерцание каждого из них. Смерть может прекратить эти перевороты, но до самой смерти нельзя положиться ни на одно (на этот раз уже самое достоверное!) решение. И нельзя сказать, чтобы здесь мы имели дело с постоянным душевным хаосом, постоянными колебаниями, постоянным движением. В каждый данный момент убеждения категоричны и тверды, как скала. А назавтра, быть может, обстоятельства сложатся так, что весь стройный душевный мир предшествующей прочной постройки безнадежно завалится.

У князя Андрея такие перемены реже, процесс мучительнее. У Пьера Безухова постоянные «верю — не верю» доведены до крайности, и фантастические фазы его душевного развития переходят в область комического.

Способностью «разрушать и снова созидать миры», как говорит философ Шестов, отличается и герой «Анны Карениной» — Константин Левин.

Такими критическими переживаниями полна судьба Толстого. Человек со своими коренными свойствами остается, конечно, всегда тот же. Но в каждый данный период незаметно накапливается критический материал для будущего переворота. Он прорывается в мыслях и писаниях. Постепенно он приобретает упругость, становится все более сознательным. Наконец, наступает перелом. Иногда он носит такой бурный характер, как в половине семидесятых годов, иногда протекает с большею постепенностью, с большим спокойствием.

Да, почти все элементы будущих проповедей Толстого можно найти в писаниях его до 1879 года. Но то были размышления, переживания, не собранные в ясное, боевое миросозерцание. Надлежащие ударения ни на чем еще не были поставлены. То были предрассветные сумерки. Он зорко вглядывался в неверные очертания окружавших его предметов. Но вот появилось солнце и ослепительно осветило все. Казалось, навсегда воцарилось определенное «разумение». Увы! впереди был еще длинный день прозаической действительности, чреватый полутонами, новыми

событиями и настроениями, новыми мыслями.

2

Толстой пришел к необходимости критически исследовать учение церкви. Результаты этого исследования он изложил в книге «Критика догматического богословия». Он сам очень высоко ценил эту работу. В действительности «Критика догматического богословия» — книга слабая и по содержанию, и по форме. Параграф за параграфом он критикует учебник догматического богословия одного из русских архиереев, делая попутно экскурсии в область символа веры, посланий восточных патриархов, катехизиса. Книга полна резких нападок, сарказмов, издевательства. Он обвиняет церковь («собрание праздных, обманывающих, невежественных людей») в прислужничестве власти, в «сознательном обмане, посредством которого одни люди хотят властвовать над другими». Люди опытные и образованные давно уже не обращают на церковь никакого внимания. Народ? Толстому теперь кажется, что и народ совершенно равнодушен к церкви.

Толстой пытается даже доказать, что церковь, с ее «непроходимым лесом глупости», является учреждением антихристианским. Церковь не нужна: Христос заповедал не учить, а творить добрые дела, чтобы люди, видя их, прославляли Бога. Верили и верят только делам…

Сделана была попытка напечатать «Исповедь» в одном из бесцензурных журналов. Но книжка в последнюю минуту была арестована, статья Толстого запрещена и вырезана. О печатании «Критики догматического богословия», конечно, не могло быть и речи. Так началась борьба с Толстым правительства. Она чрезвычайно способствовала его популярности. Нелегальные списки его сочинений начали расходиться в большом количестве экземпляров. Религиозные вопросы мало затрагивали в то время русскую интеллигенцию. Но преследования правительства придавали мыслям Толстого совсем особенную пикантность. И в разных частях страны создались центры для переписки и распространения запретных творений великого писателя.

Теперь Толстой уже никому не верит. Ему нужно самому исследовать первоисточники. Он берет греческие тексты четырех Евангелий, ученые комментарии к ним, лучшие переводы на новые языки, своды. Пользуясь своим недавним знакомством с греческим, он переводит слово за словом. Часто в длинные примечаниях и целых статьях он оспаривает общепринятые

толкования, предлагая новое понимание. Каждое отступление от обычного перевода, каждое вставленное разъяснение, каждый пропуск он объясняет и доказывает сличением разных вариантов евангелия, контекстом, филологическими и другими соображениями. По мере движения вперед он увлекается и пылает восторгом. С каждым шагом он все больше убеждается, что христианство есть самое строгое, чистое и полное метафизическое и этическое учение, выше которого не поднимался до сих пор разум человеческий. Вместе с тем, составляя свой систематический свод четырех Евангелий, он приходит к окончательному убеждению, что учение христианских церквей имеет мало общего с чистым учением Христа, так как старается соединить несоединимое: философию евангелий с ветхим заветом и позднейшими толкованиями.

Так составилось это обширное творение, в котором отважный исследователь, восторгаясь и пламенея, делал все новые и новые открытия.

Через 20 лет в предисловии к одному из заграничных изданий свода евангелий автор отнесся к своей горячей, «незабвенной» работе критически. Он писал в 1902 году: «Под влиянием восторга и увлечения, я, к сожалению, не ограничился тем, чтобы выставить понятные места евангелия, излагавшего учение (пропустив то, что не вяжется с основным и главным смыслом и не подтверждает и не отрицает его), но пытался придать и темным местам значение, подтверждающее общий смысл. Эти попытки вовлекли меня в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения, которые не только не усиливают убедительности общего смысла, но должны ослаблять ее».

Венцом исканий Толстого явилась книга «В чем моя вера?» Он работал над нею в течение 1883-го года. Блестящий трактат полон пылкою верою. Здесь с чисто толстовской страстностью подведены итоги долголетнего процесса.

К каким же непоколебимым истинам пришел Толстой на этот раз?

Он категорически отверг учение церкви и всю обычную христианскую мистику. Для него Христос — не Бог, а учитель истины. Евангелие не нуждается в авторитете божественного происхождения. Основные его веления начертаны в душе. Они подлежат проверке лишь внутреннего сознания (совести) человека.

Учение мира, поддерживаемое церковью, создает бессмысленную, полную несчастий жизнь на земле. Жизнь эта заканчивается смертью. Учение Христа указывает цель жизни, не

уничтожаемую смертью. Цель эта поддержание — мира, единения и любви между людьми. Никто не может и не должен рассчитывать на личное бессмертие, но дело его жизни, если он посвятит ее увеличению любви на земле, останется вечным. И сам он, после плотской смерти, сольется с разлитой в мироздании любовью, т. е. — с Богом.

Так осмысливается истинно христианская жизнь ввиду неизбежной личной смерти.

Увеличение любви на земле требует устранения соблазнов, которые стоят перед человеком. Соблазны эти манят ложным обещанием увеличения счастья плотской жизни. Нагорная проповедь (ключ к пониманию Евангелия) дает пять простых и ясных заповедей для борьбы с соблазнами. Толстой формулирует их так: 1) не сердись, 2) не блуди, 3) не клянись, 4) не противься злу насилием, 5) не воюй (люби врагов своего народа).

Эти пять заповедей исключают все зло из жизни людей. Исполнят люди эти заповеди — и царство мира будет на земле. Оно не только осмыслит жизнь людей ввиду неизбежной личной смерти, но даст блаженство уже на земле, ибо мира всего мира жаждет каждое сердце человеческое.

Борьба с соблазнами требует от сильных мира сего коренной ломки их жизни и положения.

«Быть бедным, быть нищим, быть бродягой — это то самое, чему учит Христос; то самое, без чего нельзя войти в царство Бога, без чего нельзя быть счастливым здесь, на земле».

Это превращение в нищего и бродягу вернет человека к природе, даст ему труд любимый и свободный (в частности — труд физический), настоящую близость с семьею, свободное, любовное общение со всеми людьми мира, здоровье и безболезненную смерть.

Во всех этих отношениях люди, цепко держащиеся за мирские блага, находятся в несравненно худших условиях, чем последний бедняк.

— Но никто не будет кормить тебя и ты умрешь с голоду, — говорят на это, забывая слова Христа: «трудящийся достоин пропитания».

— Трудись бескорыстно, без желания создать себе собственность. Всякий, нуждающийся в твоей работе, поддержит и твою жизнь, и жизнь твоего семейства.

Исполнение этого учения не трудно; оно не призывает к страданиям и лишениям в этой жизни, но избавляет от девяти десятых страданий, которые мы несем во имя учения мира.

Последняя (XII-ая) глава книги полна восторженного пафоса. Толстой говорит:

«Я верю, что благо мое возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа. Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно. Я верю, что и до тех пор, пока учение это не исполняется, что если бы я был даже один среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной погибели. Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна, и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне отец жизни». «Все, что прежде казалось мне хорошим и высоким — почести, слава, образование, богатство, сложность и утонченность жизни, обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня дурным и низким; — мужичество, неизвестность, бедность, грубость, простота обстановки, пищи, одежды, приемов — все это стало для меня хорошим и высоким…» «Я верю, что разумная жизнь — свет мой — на то только и дан мне, чтобы светить перед человеками не словами, но добрыми делами, чтобы люди прославляли Отца…» «Я верю, что единственный смысл моей жизни — в том, чтобы жить в том свете, который есть во мне, и не ставит его под спудом, но высоко держать его перед людьми так, чтобы люди видели его…» «Ибо истина передается людям только делами истины».

Таково это учение. Трудно проникнуться им не только по приведенному краткому изложению, но и после чтения красноречивой книги Толстого. Трудно поверить простоте и легкости проведения этого учения в жизнь. Толстой получил свою веру от мужиков. Сомнительно, чтобы любой из них согласился с автором книги «В чем моя вера?» Мужика не легко убедить в преимуществах его положения по сравнению с положением знатных, богатых и ученых. К тому же вера мужика, правила его поведения основаны на представлении о личном бессмертии, о награде или наказании «на том свете». А личное существование после смерти чуждо новым воззрениям Толстого.

Как бы то ни было, перед нами — «восторг познания истинной жизни», «желание и надежда осуществить ее сейчас». Для этого необходим прежде всего полный перелом в положении, во внешней жизни проповедника, ибо «истина передается людям не словами, а только делами истины».

3

Толстой не мог и не хотел держать про себя свои открытия, свое «счастье». Один из первых опытов обращения в новую веру

сделан им был в Петербурге. Его верный друг, его «прекраснодушная» придворная тетка — всегда, почти с болезненным нетерпением — хотела видеть в нем полную и ясную веру. Вперед рассчитывая на полный успех, он неожиданно появился в ее дворцовом помещении. Едва успев поздороваться после долгой разлуки, он стал развивать перед ней все, что накопилось в его душе.

Она молчала.

— Я вижу, вы уже прониклись моей мыслью, — наконец воскликнул он.

— Вы ошибаетесь, мой дорогой, я ее даже не понимаю. Он вскочил со своего места, как ужаленный.

— Как же вы этого не понимаете? Это так просто и может быть выраженным в двух словах. Вот видите: в моей душе открылось окно, — в это окно я вижу Бога, и затем, мне ничего, ничего более не нужно.

— Что значит ничего? Разумеется, самое главное верить в Бога; но прежде, чем входить с вами в соглашение, я должна знать, как вы в него веруете?

В ответ он горячо доказывал бесполезность и вред церкви. Он отрицал божественность Христа и возможность спасения через него, через искупление.

Но Александра Толстая строго держалась православия и со своей обычной горячностью защищала низвергнутую им церковь. Завязался бой, который продолжался целый день. На другое утро она получила записку: «Не сердитесь, что я уезжаю, не простясь с вами. Не могу. Я слишком взволнован вчерашним спором…»

Он исчез. И с этого начались их сериозные разногласия. Она считала священным долгом в длинных и горячих письмах убеждать его вернуться в лоно православной церкви. От этих писем он приходил в крайнее раздражение. Он решительно требовал, чтобы она прекратила попытки «обращать» его («то есть, учтиво выражаясь, — писал он, — не говорить ему неприятностей»). В их долголетней дружбе образовалась трещина. Изредка они виделись и переписывались. Но прежние отношения, уже подорванные его женитьбой, бледнели, чахли и никогда не могли возобновиться.

Его проповедь в семье дала еще худшие результаты. Здесь вопрос шел уже не о чистоте православной веры. Но никого не прельщала и не увлекала его проповедь нищеты. Никто не верил, что найдутся благодетели, которые станут кормить громадную семью за физическую работу стареющего Толстого. Никто не верил в способность его к такой работе. К тому же ни у кого не было ни достаточных побуждений, ни желания изменить барский

образ жизни, заведенный и налаженный самим Толстым. Тщетно он хотел отказаться от литературных прав и приступить к раздаче имущества бедным. Эти намерения встретили страстный отпор. Ему было категорически объявлено, что, если он начнет раздавать имущество, над ним будет учреждена правительственная опека за расточительность, вызванную психическим расстройством. Ему угрожали таким образом сумасшедшим домом.

Трудно представить себе, чтобы такие угрозы могли быть приведены в исполнение. Но угрозы, несомненно, имели место. О них с полной категоричностью говорит автор толстовской биографии П. И. Бирюков. Рукопись его книги прошла через руки графини Софьи Андреевны. В других случаях она не раз объяснялась с читателем в своих примечаниях к тексту. В этом месте оговорки отсутствуют. Об опеке за расточительность пишет и ее брат (Степан Берс) в воспоминаниях, которые до напечатания тоже прошли через ее руки. Факт угроз можно считать установленным. Вероятно, он имел место в разгаре вспыхивавшей по временам религиозной полемики.

Толстой был категоричен, жесток, раздражителен. Позднее он сам говорил: «Софью Андреевну нельзя осуждать: она не виновата в том, что не идет за мной. Ведь то, за что она теперь так упорно держится, есть то самое, к чему я же, в течение многих лет, ее приучал. Кроме того, в самое первое время моего пробуждения я слишком раздражался и настаивал, стараясь убедить ее в своей правоте. Я тогда выставил перед ней свое новое понимание жизни в такой противной, неприемлемой для нее форме, что совсем оттолкнул ее. И теперь я чувствую, что придти к истине моим путем она, по моей же собственной вине, уже никогда не сможет. Дверь эта для нее закрыта».

У детей Толстого его проповедь также имела мало успеха. Старший сын, уже поступавший в университет, добрый, сильно привязанный к отцу стал в решительную оппозицию к его новым мнениям. Он утверждал, что существование Бога не может быть доказано, что он не знает, правильны ли выводы отца, что вся эта философия ему не нужна, что он любит плотскую жизнь и верит в нее. Для остальных Толстой становился просто скучен. По их наблюдениям, он стал сумрачен, раздражителен, часто из-за пустых мелочей ссорился с Софьей Андреевной, и из прежнего веселого и жизнерадостного руководителя превратился в строгого проповедника и обличителя.

«Как можно было совместить жизнь «по-Божьи», — восклицает его второй сын, — жизнь странников и мужиков, которыми так восхищался папа, с теми непогрешимыми основами, которые были внушены нам с самой нашей колыбели: с

непременной обязанностью есть за обедом суп и котлеты, с говорением по-английски и по-французски, с приготовлением нас в гимназию и в университет, с учением роли к любительскому спектаклю? И часто нам, детям, казалось, что не мы не понимаем папа, а как раз наоборот: он нас перестал понимать, потому что он занят чем-то «своим»… Все старые устои семьи оставались еще прочными и всем ее членам эгоистически необходимыми».

С друзьями дело проповеди шло не лучше. В мае 1881 года в Ясной Поляне гостил Фет. Толстой отмечает в записной книжке: «Разговор с Фетом и женой. Христианское учение неисполнимо.

Так оно глупости? Нет, но не исполнимо. Да вы пробовали ли исполнить? Нет, но не исполнимо!»…

Философ Страхов гостил как-то в Ясной Поляне, и, после всех разговоров, Толстой провожал этого преданного ему человека жесткими словами: «кто не со мною, тот против меня!» И Страхов писал ему: «я думал: он отлучает меня от церкви! Ну, что же делать! Я ведь потому держусь своих мыслей, что не могу иначе, и не лукавлю перед собой. Но пусть он отвергает меня, я останусь ему верен».

И Толстому пришлось, по необходимости, глубоко задуматься над своими «открытиями». Ведь в сущности единственный прямой вывод из его понимания учения Христа сводился к полному отказу от собственности, даже от возможности приобретать ее в будущем. Новая жизнь требовала отказа и от семьи («враги человеку домашние его»). Словом, ему предстояло уйти одному и навсегда, — пропасть, перестать быть Толстым, затеряться в толпе, стать безымянным бродягой. К такому шагу Толстой не был подготовлен. Он знал: жена и дети любят его. Он сам до такой степени сжился с ними, что впадал в жестокую, смертельную тоску при сколько-нибудь продолжительной разлуке с семьей. И в новом учении своем он только что выдвигал здоровую и обширную семью, как один из необходимейших элементов счастья. Впоследствии, в глубокой старости, на вопрос о том, как он понимал требование Христа оставить семью, Толстой отвечал: «Я понимаю так: оставь заботу о них, как о своих. Если же в буквальном смысле оставить, бросить на произвол судьбы, то это будет противоречить тем самым основам любви, во имя которых это производится…» В восьмидесятых годах даже это — весьма успокоительное и весьма широкое — толкование было ему чуждо. Он любил семью, считал себя неразрывно связанным с ней и обязанным заботиться о ней. Покинуть ее он не мог. Не мог и заставить ее насильно следовать своему новому учению. Какие-то компромиссы казались неизбежными.

Летом 1881 года он снова заболел, уехал лечиться кумысом в Самарские степи и старался наладить там свое неклеившееся хозяйство. Его мучала мысль, что он бросил все заботы о семье и о делах на Софью Андреевну: она дохаживала последние месяцы беременности и должна была готовиться к предстоящему осенью переезду семьи в Москву. Этот переезд давно был решен. Старший сын поступал в университет; пришла пора вывозить дочь в свет. С переменою взглядов Толстому тяжело было думать о предстоящей ломке деревенской жизни в направлении, которое он считал вредным. По-видимому, на этой почве происходили длительные пререкания. Но, пожив в Самаре, вдали от семейных разногласий, он «уже иначе стал смотреть на московское житье», он даже «поверил в него». Он видел кругом людей «севших на землю» и пытавшихся жить трудами рук своих. И что же?

«Ничто не может доказать яснее невозможности жизни по идеалу… Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семья стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. То же переносишь на себя и научаешься довольствоваться средним. То же среднее в молоканстве, то же среднее в народной жизни, особенно здесь…»

Почти в каждом письме он каялся, что плохо помогал жене в ее обширных заботах, обещался вернуться к ней «паинькой» в ее смысле. Он писал: «Я все то же думаю и чувствую, но я излечился от заблуждения, что другие люди должны смотреть на все, как я. Я много перед тобою виноват, душенька. Бессознательно, невольно был виноват, ты знаешь это, но виноват. Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, надо забыть все. И я слишком забывал о тебе, и каюсь. Ради Бога и любви нашей, береги себя. Откладывай больше до моего приезда; я все сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться…»

Он пытался даже подвести идейный фундамент под свои компромиссы:

«Семья — это плоть, — писал он в дневнике. — Бросить семью — это второе искушение — убить себя. Семья — одно тело. Но не поддавайся третьему искушению, служи не семье, но единому Богу. Указатель того места на экономической лестнице, которое должен занимать человек. Она плоть; как для слабого желудка нужна легкая пища, для избалованной семьи нужно больше, чем для привычной к лишениям…»

И он дошел до того, что в 1882 году присматривал и купил в Москве тот знаменитый дом в Хамовническом переулке, через

который за тридцать следующих лет прошла бесконечная вереница людей всех сословий и всех национальностей. Первую зиму Толстые жили в наемной квартире. Софья Андреевна уверяет, что дом был куплен против ее желания. Как бы то ни было, именно Толстой осенью 1882 года возился в Москве с капитальным ремонтом и переделкою, покупал мебель, карету, коляску, двое саней, распоряжался, чтобы из Ясной приведены были лошади. Он хлопотал о поступлении сыновей в гимназию и вывез старшую дочь на ее первый бал.

Слова можно найти для объяснения всякого поступка. Но по существу он впадал, конечно, в роковое противоречие со своей проповедью. Ведь он сам писал несколько позже: «Очень удивительно то оправдание такой жизни, которое часто слышишь от родителей: «Мне ничего не нужно, говорит родитель, мне жизнь эта тяжела, но, любя детей, я делаю это для них». То есть, я несомненно, опытом знаю, что наша жизнь несчастлива, и потому… я воспитываю детей так, чтобы они были так же несчастливы, как и я. И для этого я по своей любви к ним привожу их в полный физических и нравственных зараз город, отдаю их в руки чужих людей, имеющих в воспитании одну корыстную цель, и физически, нравственно, и умственно старательно порчу своих детей. И это-то рассуждение должно служить оправданием неразумной жизни самих родителей!»

Эти противоречия, при всей гибкости услужливого ума Толстого, не могли не мучить его. Все хорошие намерения, которыми полны его письма из Самары в июле 1881 года, оказались не осуществимыми. Практически, и после возвращения его домой, все хлопоты по переезду семьи в Москву пали на больную Софью Андреевну.

Он ослабел, впал не только в уныние, но даже в какую-то отчаянную апатию. Он не спал и не ел и временами буквально плакал. Глядя на его мучения, первые две недели после приезда в Москву, плакала каждый день и его жена.

Он писал в дневнике (5-го октября 1881 года): «Прошел месяц. Самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Все устраиваются. Когда же начнут жить? Все не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни. — Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргии, и — пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное. Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях и ездят извозчиками».

Софья Андреевна видела сон, который она любила

рассказывать. Она стояла будто бы перед большой церковью, еще неоконченной; перед дверями храма возвышался громадный крест, а на нем живой распятый Христос… вдруг этот крест стал двигаться и, обойдя три раза вокруг храма, остановился перед нею. Спаситель взглянул на нее — и, подняв руку вверх, указал ей на золотой крест, который сиял на куполе храма…

В действительности отношения Льва Николаевича к православной церкви, по-видимому, не очень жестоко волновали Софью Андреевну. Но счастливые дни кончались, и на нее, несомненно, надвигался тяжелый крест, который предстояло нести до конца жизни. Больше всего волновала судьба семьи и тех закрепленных долгим временем традиций, в которых росли и воспитывались ее дети. В автобиографии она писала впоследствии (в 1914 году): «Я недоумевала, как жить с такими взглядами (как у мужа), пугалась, тревожилась, горевала. Но не могла же я с девятью детьми поворачиваться, как флюгер, туда, куда мысленно уходил, постоянно изменяясь, мой муж. У него это было горячее, искреннее искание, у меня это было бы тупое подражание, даже вредное для семьи…» «Отдав все свое состояние по желанию мужа (неизвестно кому), оставшись в бедности с девятью детьми, я должна была бы работать на семью, — кормить, шить, мыть, воспитывать детей без всякого образования. Лев Николаевич по своему призванию и влечению не мог бы другого делать, как писать…»

Еще во времена возникших семейных конфликтов Софья Андреевна думала совершенно так же, хотя выражалась резче и определеннее. Вот летом 1881 года она пишет мужу в Самару в ответ на его хозяйственные планы и сетования на окружающую нужду: «Хозяйство так пусть идет, как налажено, я не желаю ничего переменять. Будут убытки, но к ним уже не привыкать; будут большие выгоды, то деньги могут уйти и не достаться ни мне, ни детям, если их раздать. Во всяком случае ты знаешь мое мнение о помощи бедным: тысячи самарского и всякого бедного народонаселения не прокормишь, а если видишь или знаешь такого-то или такую-то, что они бедные, что нет хлеба, или нет лошади, коровы, избы и проч., то дать все это надо сейчас же, удержаться нельзя, чтобы не дать, потому что жалко и потому что так надо».

В следующем году она писала ему в деревню: «…Первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твое письмо. Все хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только все ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли, мне кажется это ясно; мне тебя

ужасно жаль, и если бы ты без досады обдумал и мои слова, и свое положение, ты, может быть, нашел бы исход. Это тоскливое состояние уже было прежде давно: ты говоришь: «от безверия повеситься хотел»? А теперь? Ведь ты не без веры живешь, отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, несчастные и злые люди? Посмотри получше: есть и веселые и здоровые, счастливые и добрые. Хотя бы Бог тебе помог, а что же я могу сделать?»

В начале 1883 года она сообщала сестре: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще барской жизни. Мне это больно бывает: но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я, толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это свет. Но не могу идти скорее, меня давит и толпа, и среда, и мои привычки».

Наконец, еще одна выписка из письма к мужу от 27 июня 1883 года: «Я все читаю твою статью, или, лучше, твое сочинение. Конечно, ничего нельзя сказать против того, что хорошо быть совершенными и непременно надо напоминать людям, как надо быть совершенными и какими путями достигнуть этого. Но все-таки не могу не сказать, что трудно отбросить все игрушки в жизни, которыми играешь, и всякий, и я больше других, держу эти игрушки крепко и радуюсь, как они блестят и шумят и забавляют. А если не отбросим, не будем совершенны, — не будем христиане, не отдадим кафтана, и не будем любить всю жизнь одну жену, и не бросим оружия, потому что за это нас запрут…»

Этим письмам и высказанным в них мыслям нельзя отказать в здравом смысле. Они очень искренни и, пожалуй, даже скромны. А ведь искренность, по мнению Толстого, самое важное качество людей: недаром искренность и правдивость Кити Щербацкой (в «Анне Карениной») так умиляла его…

Конечно, в обыденной жизни разногласия не развертывались так спокойно. Оба они были энергичные, горячие, властные люди.

Когда в 1882 году Толстой вздумал вдруг изучать еврейский язык, Софья Андреевна, страстно ожидавшая его возвращения к художественному творчеству, испытала сильнейшее негодование, что «он тратит силы на пустяки». Свое недовольство она скрыть не могла и не хотела. Это недовольство возникало чуть не каждый день — по поводу его обличительных речей, мрачных настроений и в особенности — при попытках хотя бы и частично причинять материальный ущерб семье. Его дневники того

времени полны отчаянной тоски. В 1884 году он писал: «Очень тяжело в семье. Тяжело, что не могу сочувствовать им. Все их радости, экзамен, успех света, музыка, обстановка, покупки — все это я считаю несчастьем и злом для них и не могу сказать им. Я могу, и я говорю, но мои слова не захватывают никого. Они как будто знают не смысл моих слов, а то, что я имею дурную привычку это говорить. В слабые минуты, — теперь такая — я удивляюсь их безжалостности. Как они не видят, что я не то, что страдаю, а лишен жизни вот уже три года. Мне придана роль ворчливого старика, и я не могу в их глазах выйти из нее. Прими я участие в их жизни — я отрекусь от истины, и они первые будут мне тыкать в глаза этим отречением. Смотри я, как теперь, грустно на их безумство — я ворчливый старик, как все старики».

Он чувствовал, как его «затягивало илом» их жизни. Временами он полон «смертной слабости». Временами прорывается и восстает. Ему кажется, что причина всего — невоздержанность и раздражительность его жены. У него чувство такое, что около него «ходит тигр и вот-вот…» Он пишет: «тупость, мертвенность души, это можно переносить, но при этом дерзость, самоуверенность…» Ему кажется, что все бы можно наладить в семье, если бы не отсутствие «любимой и любящей жены». Он начинает думать об уходе. «И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мучения? И как бы ни были тяжелы (да они легкие) условия бродяги, там не может быть ничего подобного этой боли сердца!.. Только бы мне быть уверенным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце…»

Он сознается, что не может порой сдержать злобы, описывая постоянные «взрывы» и «злобные» выходки со стороны жены.

«Она пришла ко мне и начала истерическую сцену — смысл тот, что ничего переменить нельзя, и она несчастна, и ей надо куда-то убежать. Мне было жалко ее, но вместе с тем я сознавал, что безнадежно…» Она «до моей смерти останется жерновом на шее моей и детей… Должно быть так надо. Выучиться не тонуть с жерновом на шее. Но дети? Это видно должно быть. И мне больно только потому, что я близорук. Я успокоил, как больную…»

Порой же Софья Андреевна «очень спокойна» и довольна и не видит всего разрыва…

Он плохо выдерживал эти постоянные приливы и отливы. Однажды, в погожий июньский вечер он косил в саду. Потом выкупался и вернулся домой бодрый и веселый. Софья Андреевна была особенно нервна, ибо на днях должна была разрешиться от бремени. Она встретила мужа горячими упреками за желание

продать лошадей, «которых ему было не нужно и от которых он хотел избавиться». Ему вдруг стало невыносимо тяжело. Прервав бурный разговор, он в своей комнате взял мешок с кое-какими вещами на спину и вышел из дому, сказав, что не вернется никогда. У Софьи Андреевны начались роды и эти два страдания — физическое и сердечное — казались невыносимыми. Она молила Бога о смерти. А он шел, одинокий, по шоссе в Тулу, удаляясь от этого «дома сумасшедших, управляемого сумасшедшими…»

Но он вспомнил, что она должна скоро родить, и вернулся. Дома играли в винт «бородатые мужики» — его сыновья. Остальные были на крокете. Он прошел прямо к себе в кабинет и лег на диван. Но было не до сна. В третьем часу ночи она спустилась к нему.

— Прости меня, я рожаю, может быть, умру…

Начались роды, и в семь часов утра появилась на свет их дочь Александра. По состоянию матери к ребенку пришлось приставить кормилицу.

— Никогда не могла я забыть этой ужасной, светлой июньской ночи! — через тридцать лет восклицала Софья Андреевна.

А он писал в дневнике 1884-го года, в разгаре самых событий: «Если кто управляет делами нашей жизни, то мне хочется упрекнуть его. Это слишком трудно и безжалостно. Безжалостно относительно ее. Я вижу, что она с усиливающейся быстротой идет к погибели и страданиям душевным ужасным…»

Среди многих «прорывов» их сложных отношений особенно замечательно столкновение, происшедшее в декабре 1885 года. Софья Андреевна описывает его сестре так:

«Случилось то, что уже столько раз случалось: Левочка пришел в крайне нервное и мрачное настроение. Сижу раз, пишу, входит: я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно: ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего. «Я пришел сказать, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, еду в Париж или в Америку». Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы не так удивилась. Я спрашиваю удивленно: «Что случилось?» «Ничего, но если на воз накладывают все больше и больше, лошадь станет и не везет». — Что накладывают — неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже и наконец, я терпела, терпела, не отвечала ничего почти, вижу человек сумасшедший и когда он сказал, что «где ты, там воздух заражен», я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев. Таня говорит: «Я с вами уеду, за что это?»

Стал умолять остаться. Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто, подумай, Левочка и всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его, дети четверо (Таня, Илья, Леля, Маша) ревут на крик. Нашел на меня столбняк, ни говорить, ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу. Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось. — Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь, за что же? Я из дому ни шагу не делаю, работаю с изданием до трех часов ночи, тиха, всех так любила и помнила это время, как никогда, и за что?»…

Так разрушали они друг в друге последние остатки любви.

Глава восьмая
Компромиссы

1

В начале 1882 года в Москве должна была состояться всеобщая перепись. Толстой, в числе других видных общественных деятелей, получил предложение руководить группою порайонных счетчиков. Он согласился и выбрал себе местность, заселенную наиболее бедными жителями Москвы.

Готовясь к переписи, Толстой побывал в большом ночлежном доме, находившемся в его районе. В декабрьские сумерки, в ожидании впуска в дом, собралась громадная толпа еле одетых, дрожащих от холода людей. Толстой пришел в ужас. Беседуя с несчастными, он подозвал сбитеньщика и предложил им горячего напитка. Самовар сбитеньщика был осушен в несколько минут. Раздав бывшие при нем небольшие деньги, Толстой вместе со своими новыми знакомыми вошел в открытые, наконец, ворота. Вонь, грязь, нищета обступили его со всех сторон. С чувством преступника он возвратился в свой комфортабельный дом и сел за обед в пять блюд, которые разносили лакеи в белых перчатках. Этот контраст поразил его воображение. С раздражением и злобою, со слезами в голосе, махая руками, он кричал домашним и гостям:

— Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!..

Его успокоили. Но он решил действовать. Он написал горячую статью, которую в корректуре прочел в городской думе. Он звал две тысячи работников переписи выяснять во время регистрации нужду и, после работы, без всякой особой организации, удержать сношения с нуждающимися и работать для облегчения их участи.

Он обошел кое-кого из богатых знакомых и получил обещание пожертвований.

Горячая статья была напечатана и вызвала много откликов. Но дело потерпело полное фиаско.

В своей новой исповеди («Так что же нам делать?») Толстой рассказывает, как это случилось.

Он не имел терпения собрать обещанных ему денег. Впрочем, деньги оказались, как он и предчувствовал, почти не нужными. Заканчивая свой опыт и торопясь весной в Ясную Поляну, он прямо не знал, куда пристроить даже и те 37 рублей, которые

оставались в его распоряжении.

В трущобах Москвы он нашел трудовой народ, не только зарабатывавший свой хлеб, но и помогавший в острых случаях окружающим. Правда, Толстой снова столкнулся с толпой деклассированных, состоявшей из низшего разряда проституток, заброшенных детей и (главное) лиц, лишившихся по разным причинам привилегированного положения. Но этим разрядам сериозно помочь деньгами было трудно. Помочь любовью, братским, дружеским участием, долгой, кропотливой работой? Но истинной любви к таким людям Толстой, сам того не сознавая, не чувствовал. Скорее напротив. Максим Горький, к которому лично Толстой относился хорошо, рассказывает в своих воспоминаниях, с каким тяжелым неудовольствием Лев Николаевич в 1902 году, в Крыму, слушал чтение пьесы «На дне». Он прерывал автора, уходил, еле сдерживал свое отвращение и, по окончании, строго спросил Горького:

— Зачем вы это написали?

В 1882 году, в Москве несчастные ночлежных домой (некоторым Толстой все же пытался помочь) вызвали в нем не любовь, а совсем иные чувства. Странно сказать, но он кипел злобою. Не против объектов своей филантропии, конечно. Но против тех самых привилегий, возврата которых так жаждали деклассированные. Натолкнувшись на ужасающую бедность, которой он не умел помочь, Толстой хотел добраться до ее причины. Но «истина» только через три года «стала уясняться» ему.

Истина гласила: «нет справедливости в том, чтобы одни люди постоянно праздничали, а другие постоянно постничали и работали». Ловкие люди различными уловками исхитрились получить для себя волшебный неразменный рубль, при помощи которого они поработили остальных и заставили их работать. Обобрав мужиков в деревне, привилегированные («господа») перебираются в город, ведут здесь «безумно роскошную» жизнь, которой соблазняют и развращают неимущих, вынужденных следовать из деревни за богатыми, чтобы вернуть от них хотя бы крохи. Как же помогать нужде награбленными деньгами? Какая же может быть любовь, братство, дружба между богатыми и нуждающимися? Никогда богатым не возбудить к себе доверия. Никогда не создадутся братские и любовные отношения, без которых сериозная помощь невозможна.

Новая книга Толстого «Так что же нам делать?» полна ярких картин социального неравенства. Забыв о том, что «трудящийся достоин пропитания», с жестокою, неумолимою правдою изображает он городскую нищету, отчаянную жизнь и отчаянные

усилия трудящихся в городе и деревне. А рядом с этим развертываются картины постоянного праздника среди богатых, знатных, образованных. Толстой не забывает обличать себя и свою семью. Он настойчиво исследует происхождение всяческих привилегий и специально изучает вопрос о деньгах — этих «векселях на работу неимущего», при помощи которых люди восстановили старое рабство. Он доказывает, что «для привилегированного положения нашего у нас нет никакого оправдания: мы мошенничеством захватили это место и обманом удерживаем его». Помогать деньгами нельзя. «Я увидел, что всякое употребление денег; покупка ли чего, передача их задаром другому, есть подача ко взысканию векселя на бедных или передача другому для подачи ко взысканию на бедных же. И потому мне ясна стала та нелепость, которую я хотел делать — помогать бедным посредством взыскания с бедных».

«Я стоял по уши в грязи и других хотел вытаскивать из этой грязи».

Но как же быть? что же делать?

«Как только я понял, что такое богатство, что такое деньги, так мне не только ясно и несомненно стало, что мне делать, но и ясно и несомненно стало, что все другие должны делать. Я понял в сущности только то, что я знал давным-давно, ту истину, которая передавалась людям с самых древних времен и Буддой, и Исаей, и Лаодзе, и Сократом, и особенно ясно и несомненно передана нам Иисусом Христом и предшественником его Иоанном Крестителем. Иоанн Креститель на вопрос людей: «что нам делать?» отвечал просто, коротко и ясно: «у кого две одежды, тот дай тому, у кого нет, и у кого есть пища, делай то же». (От Луки III, 10, 11). То же и еще с большей ясностью много раз говорил Христос».

Но все-таки, что же делать людям, которым (как и Толстому) целый ряд соображений и обстоятельств мешал исполнить то, что рекомендуется Новым Заветом так «просто, коротко и ясно»?

Отвечать на вопрос этот тоже очень «легко и просто». Надо искренно покаяться, признать, что «не участие в борьбе с природой, поглощение чужих трудов есть уничтожение чужих жизней». Надо опроститься, сократить до мужицкого обихода свои потребности и привычки. Надо своими трудами отопляться, одеваться, обстраиваться и — главное — кормиться.

Толстому дело представилось так: день всякого человека самой пищей разделяется на 4 части или 4 упряжки: 1) до завтрака, 2) от завтрака до обеда, 3) от обеда до полдника и 4) от полдника до вечера. Деятельность человека, которая влечет его к себе, разделяется на 4 рода: 1) деятельность мускульной силы,

работа рук, ног, плеч, спины, тяжелый труд, от которого вспотеешь; 2) деятельность пальцев и кисти рук, деятельность ловкости, мастерства; 3) деятельность ума и воображения; 4) деятельность общения с другими людьми. И те блага, которыми пользуется человек, тоже можно разделить на 4 рода. Всякий человек пользуется, во-первых, произведениями тяжелого труда: хлебом, скотиной, постройкой, колодцами, прудами и т. п., во-вторых, деятельностью ремесленного труда: одеждою, сапогами, утварью и т. п., в-третьих, произведениями умственной деятельности: наук, искусств, и в-четвертых, установлением общения между людьми: знакомствами и т. п. Лучше всего было бы так чередовать занятия дня, чтобы упражнять все 4 способности человека и возвращать все 4 рода произведений, которыми пользуешься так, чтобы 4 упряжки были посвящены: первая — тяжелому труду, другая — умственному, третья — ремесленному и четвертая — общению с людьми.

Итак, в конце концов — что же нам делать?

Как можно менее предъявлять своих прав, пока не можешь совсем отказаться от этих прав, даваемых земельной собственностью и деньгами, поддерживаемыми насилием солдатства. Участвовать физическим трудом в производстве необходимых для жизни предметов. Внушать другим людям незаконность и бесчеловечность воображаемых прав, соединенных с привилегиями общественного положения, богатства, образования.

Так разрешил Толстой для себя мировой вопрос об отношении богатства к бедности.

Осуществляя эту программу, он уверял, что ему жить стало легче. Чувства виноватости и преступности ослабели. Энергия умственной деятельности от физического труда только усилилась. И чем напряженнее был физический труд, тем Толстой чувствовал себя «сильнее, бодрее, веселее и добрее».

В процессе самосовершенствования, во время «правильного» устройства жизни по новой программе обитатели ночлежных домов были забыты.

Два года назад с пламенной верою и замечательным красноречием он проповедывал коренную ломку привилегированного положения, нищету, бродяжничество, неизвестность, физический труд для прокормления себя и семьи. Все это казалось легко и просто осуществимым. Все это было необходимо осуществить в своей жизни, чтобы делами проповедывать миру христианское учение.

Все это не удалось. Правда, не по его вине. Нужно было идти на компромиссы, довольствоваться «средним». И вот, на место

бурного переворота явились, как в молодости, новые «правила жизни». Нищета и мужичество заменились суррогатами. Опрощение, понижение потребностей до минимума, распределение времени для обслуживания своих нужд и помощи людям — таковы новые идеалы.

Это уже новая фаза развития. Показательное значение такой жизни — ничтожно. Ибо всякому ясно, что строить свое существование по типу четырех упряжек, — быть может, очень гигиенично, но доступно лишь вполне обеспеченному человеку.

2

Новая жизненная программа Толстого нашла такое выражение в одном письме (октябрь 1888 года): «Коротко и грубо, но существенно верно, в практическом приложении можно сказать: уменьшить сколько возможно требования на себя труда других людей, т. е. свои потребности, и увеличивать или, если не было, начинать свой труд для других людей. Делать же все это с чистотой, т. е. избегая пороков, оскверняющих тело и душу (пьянство, разврат) и любовно, т. е. делая это, не делать больно людям, связанным со мною или стоящим на дороге моего дела».

Еще в 1881 году Толстой пытался заниматься мужицким физическим трудом. В Москве, зимою, он делал большое путешествие на Воробьевы горы (ближайшие окрестности) и там работал и беседовал о жизни с пильщиками. В деревне он стал принимать участие в полевых работах.

Эти «эксцентричности» весьма мало волновали его жену: она находила физический труд полезным для мужа и хлопотала только о том, чтобы чрезмерное увлечение работою не угрожало его здоровью.

Позднее, когда новые воззрения Толстого слагались в систему, когда послышались его обличительные речи против «роскошной» жизни семьи, когда в особенности речи эти не ограничились домашней проповедью (иногда весьма резкой), а проникли в статьях Толстого в печать, Софья Андреевна заняла по отношению ко всему «толстовству» определенно враждебное положение. В глазах ее все это было простым «юродством». В минуты злобы и раздражения она готова была заподозрить искренность мужа. В обычное время Толстой старался мирно протащить свой корабль между подводными камнями домашних сцен. Но он упорно вел свою линию. И Софья Андреевна привыкала смотреть на «юродство» сквозь пальцы. Ее жизненная задача сводилась теперь в значительной степени к тому, чтобы

отстоять достаток семьи, сохранить и даже приумножить денежные средства детей, отстоять дворянские традиции в их воспитании, обеспечить им светскую жизненную карьеру. В этих областях она оставалась непоколебимой.

Осенью 1884 года Толстой решил устраниться от распоряжения имуществом. Придя в комнату жены, он с волнением сказал ей:

— Мне так тяжело владеть и распоряжаться собственностью, что я непременно решил избавиться от нее, и вот я обращаюсь к тебе первой: возьми все, и дом и землю, и сочинения, и распоряжайся ими как знаешь: я выдам тебе какой нужно документ.

— Зачем это нужно?

— Я считаю собственность злом и не хочу ничего иметь.

— Так ты хочешь это зло передать мне? самому близкому существу?

Софья Андреевна плакала.

— Не хочу я этого и ничего не возьму.

Впрочем, она согласилась в конце концов и взяла у него полную доверенность на управление всем имуществом.

«Неопытная, без копейки денег, — пишет Софья Андреевна, — я энергично принялась изучать дело издания книг, а потом продажи и подписки на сочинения Л. Н. Толстого. Пришлось управлять имениями и вообще всеми делами. Как это было трудно с большой семьей и без всякого опыта! Приходилось и неоднократно хлопотать в цензуре и для этого ездить в Петербург…»

Софья Андреевна советовалась с многочисленными друзьями и даже познакомилась со вдовой Достоевского, которая, еще при жизни мужа, взяла издание его сочинений в свои руки. Дело пошло блестяще. После преодоления некоторой обструкции книготорговцев, Софье Андреевне удалось поставить продажу сочинений мужа в совершенно исключительные по выгоде условия. Она издавала сама с 1886 года. Ранее собрания сочинений Толстого выходили раз в 5–6 лет. Софья Андреевна выпустила свое второе издание (шестое по общему счету) уже в начале 1887 года. В конце года потребовалось новое издание. Четвертое издание Софьи Андреевны (восьмое по общему счету) появилось в 1889 году. Также успешно пошли дела и по управлению имениями.

Ее хлопоты в семье росли. «Отец, — пишет она, — все уходил и уходил из жизни семьи. Было уже девять человек детей одновременно, и, чем старше они становились, тем сложнее было их воспитание и отношение к ним. Отец же все больше и больше

отдалялся от них и, наконец, совсем отказался от участия в воспитании детей, ссылаясь на то, что их учат по программам и Закону Божьему, что он считает для них вредным».

Свое «опрощение» Толстой начал с костюма: скоро он довел его до мужицких норм. В личной жизни он отказался от прислуги, убирал и чистил свою комнату, платье, сапоги и выносил за собой. Сначала он завладел своей печкой, позднее принялся топить печи во всем доме. Как-то зимою он устранил прислугу от колки и подготовки дров. Затем пришла очередь воды. Лев Николаевич поднимался с постели рано утром (еще в темноте), качал на весь дом воду из колодца и на себе тащил на кухню обледенелые санки с кадкой воды. В 1884 году он принялся за изучение сапожного ремесла. В маленькой комнатке около кабинета стояли низенькие табуреты. Пахло кожею. Знакомый сапожник приходил к Толстому и часами работал с ним сапоги. Скоро Лев Николаевич добился того, что его дочери носили обувь его изделия.

В деревне он косил траву в своих обширных садах и выходил часто на мужицкие покосы. Яснополянские крестьяне снимали господские покосы исполу, то есть за работу брали себе половину сена. Толстой приставал то к той, то к другой артели, помогал им и, конечно, оставлял в их пользу заработанное сено. Постепенно он переходил и к другим крестьянским делам (пахоте, бороньбе), помогая маломощным крестьянским семьям на их собственных землях. Были случаи, когда он брал на себя целиком целое крестьянское «тягло», то есть весь круг работ на участках какой-нибудь вдовы, не имевшей средств нанять работника. Понемногу семья привыкала к этим странностям. Его дочери (и в особенности — вторая, Мария) часто выходили ему на помощь. Пример хозяина вовлекал иногда в работу и гостей.

Жизнь привилегированных сословий представлялась Толстому с некоторых пор в образе «светлейшего князя Блохина». Так называл себя сумасшедший мужик, ходивший по окрестностям Ясной Поляны. Он был во время Турецкой войны закупщиком хлеба при провиантском чиновнике. Мужик сошел с ума на том, что и он также, как господа, может не работать, а получать содержание свыше. Он называл себя «светлейшим князем Блохиным, поставщиком военного провианта всех сословий». Он говорил про себя, что «окончил всех чинов и, по выслуге военного сословия, должен получить от царя открытый банк, одежды, мундиры, лошадей, экипажи, чай, горох, прислугу и всякое продовольствие»; на вопрос: не хочет ли он поработать? Блохин всегда отвечал: «очень благодарен, это все управится крестьянами».

— А если крестьяне тоже не захотят работать?

— Теперь выдумка машин для облегчителыюсти крестьян. Для них нет затруднительности.

— А для чего же ты живешь?

— Для разгулки времени.

По мнению Толстого, «блохиноманией» страдали все привилегированные. Семья его не составляла исключения. В действительности, яснополянская молодежь на посторонних наблюдателей производила прекрасное впечатление. В большинстве это были милые юноши и девушки — простые, искренние, добрые. Привязанность их к Толстому не ослабевала. Но в них била ключом радостная молодая жизнь, и через опьянение ее чарами старческие теории Толстого пробивались туго. По большей части молодежь не могла и не хотела принципиально отказаться от своего положения, но охотно шла и на опрощение, и на работы (особенно — полевые). Пример Льва Николаевича заражал. Иногда в поле высыпала вся ватага молодежи и шумно принимала участие в крестьянской работе. Образовывались целые артели из хозяев и гостей и весело работали на перегонки. Илья Львович выучился даже шить сапоги.

Однажды сама графиня Софья Андреевна, заразившись общим «юродством», облеклась в сарафан и сушила сено на покосе. Крестьяне Ясной Поляны вспоминают, как Толстой приводил им на помощь заезжего японского журналиста. Они с интересом следили, как старик художник Ге клал печь в избе, которую строил Лев Николаевич для бедной вдовы.

Толстой занимался физическим трудом не для «разгулки времени». Как всегда в жизни, он оставался искренним и глубоко сериозным.

Это чувствовали яснополянские крестьяне. Они привыкли к чудачеству богатых помещиков. Они говорили, что Лев Николаевич несет работу «для души». Но, конечно, они не могли входить во внутренние отношения Толстых и не могли понять, почему добрый и богатый помещик не помогал нуждающимся деньгами. У среднего крестьянина часто совершенно отсутствовала та идеализация труда, которую хотел видеть у них великий писатель. Мужик убежден был, что не он, а «нужда пашет». И этого элемента (неизбежности и принудительности труда) не находил и не мог найти у «господ». В самом деле: Толстому не довелось никогда испробовать на себе содержание семьи или хотя бы себя самого физическим трудом. Это не могло, конечно, укрыться от него самого и порою он жаловался, что «физическая работа его почти бесцельна, так как не вынуждена

необходимостью».

Между тем тут именно коренился центр расхождения его теории с практикой. Замечательная черта его умственной работы: всякий раз, как он обращался к критике существующего, он видел перед собою реальную жизнь и рисовал несчастья трудящихся с поразительною глубиною, правдой и силой; но едва от критики переходил он к созиданию, как мгновенно забывал о всякой реальности и строил воздушные замки. По теории его («В чем моя вера?) всякий трудящийся достоин пропитания, и потому рабочий человек всегда найдет средства к существованию для себя и семьи.

И вот судьба как бы пожелала вернуть Толстого с неба на землю живым примером.

В половине восьмидесятых годов в Ясную Поляну приехал молодой, симпатичный еврей — Исаак Фейнерман. Увлеченный идеями Толстого, он решил служить русскому народу. Фейнерман приехал на деревню, чтобы занять место учителя. Для еврея, по традициям того времени, это было совершенно невозможно. Он принял православие. Но правительственная дирекция народных училищ все-таки не допустила его до преподавания. Тогда он решил остаться в Ясной Поляне и в духе толстовского евангелия оказывать трудом помощь нуждающимся в работе. Он жил в крестьянской избе, ел крестьянскую пищу, довел свои потребности до минимума, усердно работал. К нему приехала жена, молодая, красивая еврейка с ребенком. Очень скоро они стали отчаянно нуждаться. Жене пришлось для сохранения жизни ребенка просить милостыни. Толстой давал ей платную переписку. Она не выдержала этой жизни и ушла, бросив мужа. Фейнерман упорно продолжал работать. Однажды вечером он зашел к Толстому. Хозяин попросил гостя прочесть что-то вслух. Вдруг, во время чтения Фейнерман побледнел и без чувств свалился на пол. Он целый день работал, ничего не ел и обессилил от голода.

На Толстого этот случай произвел потрясающее впечатление. Он никогда не мог его забыть.

В начале восьмидесятых годов Толстой, окруженный большой, радостной, хорошей семьей, чувствовал себя глубоко одиноким. Совершенно незнакомому корреспонденту, в письмах которого он заметил сочувствие своим взглядам, он изливал душу и уверял, что тот «не может себе представить, до какой степени он, Толстой, одинок, до какой степени то, что есть его настоящее «я» презираемо всеми окружающими его…»

В глубокой старости Софья Андреевна еще вспоминала об этом письме. Она говорила в 1909 году:

— Я положила его в конверт и написала: «Письмо к Энгельгардту, которого Лев Николаевич не только никогда не знал, но и не видал», а там пусть судят, как хотят. Я ужасно оскорбилась этим письмом.

Толстой искал успокоения от овладевшей им лютой тоски в сближении с единомышленниками. Еще в 1881 году он слышал о крестьянине Сютаеве, дошедшем своими путями до толстовских идей. Лев Николаевич решил исследовать дело на месте. Он проехал к своим знакомым — помещикам Тверской губернии: в 9 верстах оттуда жил Сютаев. Толстой нашел дружную семью и обаятельного старика крестьянина, толковавшего Евангелие по-своему. Он читал по складам, писать не умел вовсе. Сютаевское учение сводилось к проповеди деятельной взаимной любви между людьми и к отрицанию частной собственности. Один из сыновей Сютаева еще в 1877 году отказался по религиозным соображениям от воинской повинности и за это томился в тюрьме. Старик не был очень беден, но по собственному желанию нес в деревне презираемые обязанности пастуха, желая, чтобы скотина была всегда хорошо напоена и накормлена. Сютаев решил распространить свое учение через императора Александра III. Он ходил в Петербург просить царя, чтобы тот «для блага народа велел толковать Евангелие согласно пониманию Сютаева…» Толстой чрезвычайно сошелся с наивным идеалистом. Провожая гостя, Сютаев запряг телегу, но, по убеждениям своим, не взял кнута. Они ехали шагом, беседовали о спасении человечества «братски, сердечно». Но лошадка тем временем незаметно забрела в овраг. Телега перевернулась и вываленные на землю мечтатели должны были вернуться к окружавшей действительности. Сютаев умер в 1892 году, и община его распалась. Много раз бывал он в Москве, гостил у Толстого, который одно время возил его проповедывать по великосветским гостиным и ввел в большую моду.

Жгучая потребность в единомышленниках и новых друзьях постепенно получала удовлетворение.

Первым (в 1882 году) явился довольно известный художник Ге. Сидя у себя на хуторе в Малороссии, он прочел одну из статей Толстого и, уже подготовленный долгим духовным процессом, вдруг понял, чего ему надо, и сразу воспринял новую веру. Он стремительно бросился в Москву, ворвался к Толстому, увидел, обнял, расцеловал его и до самой смерти остался его нежным другом и почтительным поклонником. Этот пятидесятилетний идеалист с большими голубыми, наивными глазами и длинными седеющими кудрями сделался в семье Толстых сразу общим любимцем. Он принялся за портрет Софьи Андреевны, и она с

удовольствием позировала в бархатном платье и алансонских кружевах. Но у «дедушки» Ге, по его словам, «вышла барыня в бархатном платье, у которой сорок тысяч в кармане…» Он возмутился и уничтожил портрет.

Совсем другой характер носило появление в доме Толстых Владимира Черткова. Это произошло в конце 1883 года и имело как для самого Толстого, так и для семьи его очень сериозные последствия.

Чертков был сыном генерал-губернатора. Его мать играла роль при дворе. Сам он воспитывался вместе с будущим императором Александром III. В Воронежской губернии у Чертковых было имение, приносившее 40 тысяч золотых рублей дохода. Красавец, блестящий офицер самого аристократического полка (конной гвардии) Чертков пользовался необычайным успехом в свете. Дамы сходили по нем с ума. Он вел очень бурную жизнь, кутил, играл в карты… Но временами шумные успехи в свете не удовлетворяли его. Все чаще находили полосы сомнения и религиозных исканий. В начале 1881 года Чертков убедил родителей согласиться на выход его в отставку, уехал в воронежское имение «для сближения с кормящим нас крестьянским населением и деятельности в его интересах». Он упростил жизнь свою до последних пределов и стал упорно работать для крестьян в местном самоуправлении и основывать ряд самостоятельных учреждений для бедных. Через два года он, давно слыша об учении Толстого, приехал к нему. Их встреча явилась началом сближения, выросшего в долголетнюю дружбу. Наконец, настоящий друг и последователь был найден!.. И не кто-нибудь, а человек, несомненно, искренний и убежденный, пожертвовавший многим для нового миропонимания. Своей сериозностью, прямолинейностью, спокойной уверенностью и прямотою Чертков чрезвычайно импонировал Толстому. Впоследствии многие удивлялись тому влиянию, которое приобрел на гениального Толстого этот его друг, стоявший, конечно, гораздо ниже по своим способностям. Но Чертков своим фанатизмом, пуризмом в неохристианской вере, даже педантизмом дополнял Толстого именно в том, чего не хватало широкой и подвижной натуре гениального художника. Сторонние наблюдатели, не имевшие основания относиться к Черткову недоброжелательно, отмечали в нем проявления какой-то ненормальности.

Профессор Лазурский, бывший в молодости учителем в доме Толстых, пишет в своих воспоминаниях:

«Я мало понимал этого человека и с удивлением смотрел на него. То мне припоминалось, что такие глаза бывают на иконах

святых, то мне казалось, что в Черткове есть что-то болезненное или ограниченное…»

Чертков плохо сходился с людьми, вероятно, вследствие своей грубоватой прямолинейности, хотя умел, когда хотел, обвораживать любезностью. В своем упорстве он часто выглядел наивным и попадал в комические положения.

Этот «друг» стал апостолом «толстовства» и остался им до сих пор.

Вообще учение Толстого, постепенно распространяясь, привлекало к нему все больше и больше самых разнообразных людей. Нередко появлялись революционеры и даже террористы, привлекаемые смелой анархической критикой Толстого. Такие люди прибывали конспиративно и обычно, неудовлетворенные беседами с Толстым, исчезали навсегда. Семья Льва Николаевича называли их «темными». Позднее под этот термин подошли и все «толстовцы», искавшие сближения с великим писателем. Вокруг Толстого мало-помалу образовался свой мир, к которому семья его относилась с большой осторожностью. Но таким образом тяжелое идейное одиночество Льва Николаевича, на которое он так горько жаловался, отходило в область прошлого.

Во второй половине восьмидесятых годов «сочувствующих» и «интересующихся» оказалось даже слишком много. Дом Толстых в Хамовническом переулке одолевали посетители. Великий писатель приобретал популярность во всем мире. Всем хотелось его видеть.

Софья Андреевна энергично поддерживала хозяйство. Популярность мужа восхищала ее. Конечно, ей хотелось бы ограничиться приемом в своей гостиной знаменитостей, иностранцев и светских знакомых. Но толпа «темных» с некоторых пор неудержимо тянулась в кабинет Льва Николаевича. Ученые без имени, молодые писатели, студенты, студентки, семинаристы, рабочие, крестьяне (особенно раскольники), «толстовцы» в русских рубашках и с длинными бородами, преодолевая робость и смущение, звонили у заветных дверей и вежливыми лакеями препровождались по лестницам и закоулкам дома до кабинета «учителя». В программе Толстого общение с людьми занимало видное место, и в этой области Толстой не уступал ничего. Но то был трудный подвиг. В кабинете собирались элементы столь разнообразные, что только необычайный такт Льва Николаевича мог удерживать в мирных тонах вечное горение мысли и духовных интересов, одолевавших этих людей. Иногда прямолинейные толстовцы нападали на него за несоответствие барских условий, в которых он продолжал жить, с его идеалами. Выпрямившись во весь рост, со

сверкающими глазами Толстой упорно отстаивал ту точку зрения, что важнее всего сохранить хорошее отношение к окружающим тебя в данный момент людям, и если для этого требуется остаться в условиях прежней богатой жизни, то следует лучше принести в жертву свой душевный покой.

— А если для спокойствия этих близких людей понадобится, чтобы я участвовал в разбое? — негодующе спрашивали его…

В других формах бесконечные споры происходили и за чайным столом Софьи Андреевны. Здесь Толстому приходилось не раз отстаивать свои точки зрения на искусство, науку, религию — от патентованных ученых и знаменитостей. Особенной резкостью отличались споры его с философом Владимиром Соловьевым…

Боевой элемент был очень силен в Толстом. Но эти постоянные сражения сильно утомляли его. И временами он бежал от московского шума в тихие деревенские уголки своих друзей или — всего чаще — в Ясную Поляну. Иногда это последнее путешествие (около 200 километров) Толстой совершал пешком — вдвоем или втроем с приятными ему людьми. Одетый в крестьянское платье шел никому неведомый старичок с палочкой и заводил бесконечные знакомства и разговоры с пешеходами из народа. Весь Божий мир открывался перед ним — вне тех условных рамок, в которых жил обычно великий писатель, граф Лев Николаевич Толстой. И путешествия эти, внося мир и успокоение в его душу, давали часто неожиданный и великолепный материал для его писательской наблюдательности.

Чаще он уезжал по железной дороге, в третьем классе. Вообще поездки в Ясную, эта «ванна деревенской жизни» стали ему необходимы. Обычно зимой он вырывался из Москвы раз в два месяца. Выходя из вагона на своей станции и вслушиваясь в тишину зимней деревенской ночи, он испытывал чувство, похожее на восторг: над лесом в звездном небе блестели Орион и Сириус, в лесу падал пухлый, беззвучный снег; совсем близко от себя он ощущал и добрую лошадь, и добрый воздух, и доброго Мишу, и доброго Бога…

В деревне он уже устраивал жизнь по-своему. И часто ему было там «невыносимо хорошо».

А Софья Андреевна писала: «Вчера получила первое письмо; мне стало грустно от него. Я вижу, что ты остался в Ясной не для той умственной работы, которую я ставлю выше всего в жизни, а для какой-то игры в Робинзона. Отпустил Адриана, которому без памяти хотелось дожить месяц, отпустил повара, для которого это тоже было удовольствие недаром получать свою пенсию, и с утра

до вечера будешь работать ту неспорую физическую работу, которую и в простом быту делают молодые парни и бабы. Так уж лучше и полезнее было бы с детьми жить. Ты, конечно, скажешь, что так жить — это по твоим убеждениям и что тебе так хорошо; тогда это другое дело, и я могу только сказать: «наслаждайся», и все-таки огорчаться, что такие умственные силы пропадают в колотьи дров, ставленьи самоваров и шитье сапог, что все прекрасно как отдых и перемена труда, но не как специальное занятие. Ну, теперь об этом будет. Если бы я не написала, у меня осталась бы досада, а теперь она прошла, мне стало смешно, и я успокоилась на фразе: чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало».

Впрочем, в тот же день она добавляла: «я вдруг себе ясно представила тебя, и во мне вдруг такой наплыв нежности к тебе. Такое в тебе что-то есть умное, доброе, наивное и упорное, и все освещено только тебе одному свойственным светом нежного участия ко всем и взглядом прямо в душу людям…»

«Опрощая» свою жизнь, Толстой постепенно отказывался от старых привычек. Свою любимую забаву — охоту он бросил в 1884 году. Через три года он создал общество трезвости и, вступая в него, дал обещание не пить вина. В то же время он сделался вегетарианцем. В 1888 году он бросил навсегда курение.

3

Летом 1886 года Толстой возил сено. Ударившись как-то ногою о грядку телеги, он не обратил внимания на ушиб и продолжал работать еще несколько дней. Появилась рана, нарыв, повышенная температура. Толстой слег. Врач констатировал воспаление надкостницы. Боялись общего заражения крови. Болезнь долго держала Льва Николаевича в постели. В октябре в Ясную Поляну заехал Александр Стахович. Человек этот с высоким придворным чином, богатством и знатностью соединял редкую любовь к театру и исключительный артистический талант. Читал он замечательно. Развлекая больного, Стахович читал ему драмы и комедии Островского. Через три недели, проезжая из имения в Петербург, он снова заехал в Ясную Поляну. Толстой уже поправлялся, ходил на костылях и лежал в зале в кресле.

— Как я рад, что вы приехали! — сказал он гостю. — Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму.

Это была «Власть тьмы». Все предшествовавшие годы своего общения с народом Толстой всасывал его психологию, типы,

язык. Многое он заносил в записные книжки. Между прочим друг его, Давыдов, прокурор тульского окружного суда, с год назад, рассказывал ему дело о детоубийстве; преступник — крестьянин — покаялся всенародно.

Толстой не только подробно записал этот рассказ, но два раза побывал в тульской тюрьме и виделся с преступником. Теперь, лежа в постели, он почувствовал, что лица из народной драмы начинают складно играть в его воображении. Шутя, он принялся за работу. Писать было трудно. Большею частью он диктовал. Писала радостно притихшая Софья Андреевна. Давно уже она не участвовала в работе мужа: переписывать его религиозные статьи она отказалась, заявив, что «выходит в отставку». Теперь она охотно писала под его диктовку и по ночам переписывала по-прежнему. Она отмечала даже в дневнике своем:

«Буду внимательна, осторожна со Львом Николаевичем, чтобы беречь его для любимой мной работы».

Через две с половиной недели драма была готова. Ее переписали, и вечером Стахович прочел ее приглашенным крестьянам. Их было человек 40. Они слушали молча. Шумно выражал хохотом свой восторг только буфетчик Толстых.

Чтение кончилось. Лев Николаевич обратился к пожилому крестьянину, своему любимому ученику, с вопросом, как ему понравилось?

— Как тебе сказать, Лев Николаевич, — отвечал тот. — Микита поначалу ловко повел дело… а потом сплоховал…

Этот убийственный ответ погрузил Толстого в мрачное уныние. Ведь он уже тогда признавал одним из коренных требований от произведений искусства — их общедоступность, понятность их для народа…

Пьеса была категорически запрещена цензурою — не только для постановки в театре, но и для печати.

Друзья Толстого решились однако пустить в ход свои связи. Стахович со все увеличивавшимся мастерством читал «Власть тьмы» в великосветских салонах Петербурга. Везде чтения эти имели громадный успех. Наконец, 27 января 1887 года Александр III пожелал слышать пьесу. Читал тот же Стахович во дворце графов Воронцовых, куда съехалась вся царская семья.

Александр III подошел к столу, на котором лежала пьеса, взял ее и сказал Стаховичу:

— Целую неделю лежала она у меня на столе. Я никак не успел ее прочесть; пожалуйста, читайте, все без всяких пропусков.

Чтение началось. Царь усердно записал себе на особом листе действующих лиц. С развитием действия впечатление росло.

Между актами мужчины уходили курить. Шли толки о пьесе.

О Митриче царь сказал:

— Солдат всегда во всех творениях Толстого поразительно хорош.

После сцены Митрича с Анюткой великий князь Владимир Александрович сказал Стаховичу:

— И в солнце есть пятна, только на основании этого я позволю себе указать на неверность этой сцены. Все рассуждения Митрича о бабах справедливы, но говорит их не николаевский солдат… а сам граф Толстой. Это не разговор старика с крестьянской девочкой, а длинные философские монологи.

Подошел царь.

— Ты не прав, — сказал он брату. — Все рассуждения Митрича не монологи, вложенные автором в уста солдату, а естественный разговор; невольно на эту тему навела Митрича Аннушка, и под ужасным впечатлением этой ночи и всего, что делается за сценой, Митрич думает вслух, как часто делают это старые люди, передавая словами все свои тяжелые думы о бабах и их печальной судьбе… не обращая никакого внимания на свою десятилетнюю слушательницу.

После конца 5-го действия все долго молчали, ожидая мнения царя. Наконец раздался его голос:

— Чудная вещь!

И эти два слова разверзли уста всем. Пошли толки. Восторженные возгласы: чудо, чудо! — раздавались со всех сторон…

Цензурный комитет под давлением великосветских успехов вынужден был уступить. Разрешение на печатание было дано.

По выходе «Власти тьмы» она в три дня разошлась в 250 тысячах экземпляров.

Но при постановке пьесы на сцену на Толстого обрушились гонения влиятельных реакционеров. Друг царя, редактор «Гражданина», кн. Мещерский с пеною у рта поносил «грязь» пьесы. Победоносцев в назойливых письмах царю требовал и умолял запрещения драмы. Роли были розданы и разучены, декорации и костюмы сделаны. Но на генеральную репетицию приехал Александр III и, под влиянием своих клевретов… запретил «чудную вещь» к постановке.

В театре «Власть тьмы» появилась не ранее конца 1895 года.

Растроганная и умиленная совершенно исключительным успехом нового творения мужа, Софья Андреевна писала ему: «Как хотелось бы мне поднять тебя выше, чтоб люди почувствовали, что и им нужны крылья, чтоб долететь до тебя, чтоб умилялись, читая тебя, чтоб то, что ты напишешь, не обидело никого, а сделало бы людей лучше, и чтоб произведения

твои имели интерес и характер вечный».

Толстой только смеялся на такие «рецепты творчества». Он вообще совершенно не ожидал столь большого успеха. Он просто хотел написать драму для балаганов, для народного театра:

— Кабы я знал, что так понравится, — шутил он, — я бы получше постарался написать.

Возвращение к художественному творчеству сильно способствовало сближению супругов. Софья Андреевна стала несравненно мягче и уступчивее. К выходу XII-го тома издававшегося ею собрания сочинений (1886) Толстой согласился пересмотреть начатые и брошенные беллетристические работы. Так появились на свет в окончательном виде: «Холстомер» (задуманный еще в шестидесятых годах) и «Смерть Ивана Ильича».

Гостя ранней весной 1889 года у своих друзей в деревне, Толстой набросал легкую комедию «Исхитрилась». Его старшая дочь выпросила у отца эту пьесу, чтобы поставить ее на любительском спектакле в Ясной Поляне. Впутанный таким образом в «барскую затею», Толстой увлекся и среди невероятного оживления, поднявшегося в Ясной Поляне в декабре 1889 года, уже во время репетиций, наскоро переделывал свои наброски. Так возникли «Плоды просвещения». Спектакль имел, конечно, огромный успех и подарил публике одну из любимейших русских комедий.

31 марта 1888 года родился последний, тринадцатый ребенок Толстого — сын Ванечка.

4

«Крейцерова соната» начата в 1887 году. Название это не подошло бы к первоначальной версии, так как в ней соблазнителем жены Позднышева был не музыкант, а художник. Муж застал их на месте преступления. Сцена эта, написанная по мнению Софьи Андреевны, во вкусе Золя, — очень ей не понравилась. Она уверяла Толстого, что это «отвратительно», что нет никакой надобности в такой сцене, что интересна месть мужа, а не действительность вызвавшей ее причины.

Лев Николаевич с неудовольствием выслушивал эти замечания и морщился. Казалось, ему было неприятно, что вмешиваются в его дела.

Вероятно, поэтому он бросил начатую повесть и вернулся к сюжету только через два года. У Толстых был вечер. Среди гостей находился знаменитый художник Репин и выдающийся

рассказчик и чтец актер Андреев-Бурлак. Старший сын Толстого, гр. Сергей Львович, хороший музыкант — сыграл со скрипачем Ласото «Крейцерову сонату». Как всегда, она произвела на Льва Николаевича громадное впечатление.

— Давайте изобразим «Крейцерову сонату», — сказал он Репину. — Я напишу рассказ, Андреев-Бурлак прочтет его перед публикой, а вы напишете на эту тему картину, которая будет стоять на сцене, пока Андреев-Бурлак будет читать мою повесть.

Репин никогда не пробовал выполнить это задание. Андреев-Бурлак вскоре умер. А Толстой вернулся к наброскам 1887 года, но соблазнителем Позднышевой стал уже не художник, а музыкант.

В конце августа 1889 года автор читал уже «Крейцерову сонату» своим гостям в Ясной Поляне. Но переработки продолжались.

С рассказом этим произошло то же, что почти со всеми произведениями Толстого в последнее время: цензура запретила печатание, а повесть между тем распространялась в бесконечном количестве экземпляров — литографированных, гектографированных и рукописных. В частных домах Петербурга и Москвы собирались гости специально для чтения рассказа, наделавшего много шума.

— Конечно, вы знаете, — писал автору критик Страхов, — что целую зиму только об ней и говорили и что вместо «как ваше здоровье?» обыкновенно спрашивали: «читали ли вы «Крейцерову сонату»?»

Критикуя художественную сторону повести, Страхов все-таки находил, что сильнее этого Толстой не писал ничего… и мрачнее этого — тоже ничего, — прибавлял он.

Наконец, Софье Андреевне удалось лично представиться Александру III и выпросить у него разрешение на печатание повести в собрании сочинений Толстого. На массу запросов, по настоянию Черткова, автор написал к рассказу известное «Послесловие».

Служила ли «Крейцерова соната» откликом на личную жизнь Толстого в 1887 году?

В дневнике Льва Николаевича находим такие замечания:

«Многие из тех мыслей, которые я высказывал в последнее время, принадлежат не мне, а людям, чувствующим родство со мною и обращающимся ко мне со своими вопросами, недоумениями, мыслями, планами. Так основная мысль, скорее сказать, чувства «Крейцеровой сонаты» принадлежат одной женщине, славянке, писавшей мне комическое по языку письмо, но значительное по содержанию, об угнетении женщин половыми

требованиями. Потом она была у меня и оставила сильное впечатление. Мысль о том, что стих Матфея: «если взглянешь на женщину с вожделением» и т. д. относится не только к чужим женам, но и к своей, передана мне англичанином, писавшим это. И так много других».

В письме ко князю Хилкову Толстой писал: «Меня очень обрадовало то, что «Крейцерову сонату» вы одобрили. Мысли, выраженные там, для меня самого были очень странны и неожиданны, когда они ясно пришли мне. Иногда я думал, что не оттого ли я так смотрю, что я стар. И потому мне важно суждение людей, как вы…»

Все эти признания очень ценны. Но приходится отметить, что впоследствии самого Толстого удивляла та «жестокая, холодная враждебность» к семейным отношениям, которою полна «Крейцерова соната».

Софья Андреевна ненавидела эту повесть. Ей казалось, что по поводу «Крейцеровой сонаты» стали ходить неприятные слухи: говорили, что в этом рассказе Толстой изобразил ревность, которую он сам пережил. Графиня решила, что ей нужно «очистить свою репутацию в глазах детей». Она написала автобиографический роман «Чья вина?» Окружающие отсоветовали его печатать. В противоположность «Крейцеровой сонате», где в семейных раздорах обвиняются оба супруга, в романе Софьи Андреевны во всем виноват один муж. Главное действующее лицо романа — князь Прозоровский. Он женился после бурно проведенной молодости, когда ему было 35 лет, на восемнадцати летней Анне, в описании которой графиня не пожалела красок. Анна идеальная барышня: чиста, игрива, благородна, религиозна и т. д. Кн. Прозоровский, напротив, грубое, чувственное животное. Идя по дорожке сзади своей невесты, он жадно смотрит на ее бедра и мысленно ее раздевает. После венчания молодые ехали в карете, и здесь в темноте это животное, кн. Прозоровский, от которого пахло табаком, свершил то, о чем невинная Анна раньше не знала и что ей показалось отвратительным. Чувственная любовь мужа совсем не удовлетворяла Анну. Тут явился чахоточный дилетант-художник, который поверг к ногам Анны свою бескорыстную любовь. Ревнивое животное — муж, в гневном раздражении, неосторожно убил свою чистую и невинную жену.

Как бы то ни было, настроения и мысли «Крейцеровой сонаты» говорят за себя. Если даже настроения и мысли эти — отчасти чужие, самое переживание их не могло пройти для автора бесследно.

Князь Андрей Болконский в «Войне и мире» говорит своему

другу незадолго до смерти:

— Ах, душа моя, последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много. А не годится человеку вкушать от древа познания добра и зла…

«Понимание слишком многого» в «Крейцеровой сонате» могло быть отчасти и реакцией на последнее сближение Толстого с женою.

В 1889 году написан рассказ «Дьявол». Он не появился в печати при жизни автора. В измене героя молодой жене совершенно неправильно искали автобиографических намеков. Можно с уверенностью сказать, что оба супруга Толстые оставались всегда чисты друг перед другом. В сентябре 1887 года Толстой говорил Бирюкову, с которым был откровенен: «Мне приятно сознавать, что ни с моей стороны, ни со стороны жены не было ни малейшей неверности, и мы прожили честную и чистую семейную жизнь».

С другой стороны, в 1901 году Софья Андреевна писала сестре во время тяжкой болезни мужа: «Иногда сижу или лежу ночью возле него, и так хочется ему сказать, как он мне дорог и как я никого на свете так не любила, как его. Что, если когда внешне — наваждением каким-то — я и была виновата перед ним, то внутренне крепко сидела во мне к нему одному сериозная, твердая любовь, и никогда ни одним движением пальца я не была ему неверна. Но говорить ничего нельзя, волновать его нельзя, и надо самой с собой сводить эти счеты тридцатидевятилетней, в сущности, очень счастливой и чистой брачной жизни, но с виноватостью, что все-таки не вполне, не до конца мы делали счастливыми друг друга».

В фабуле «Дьявола» есть автобиографический материал. Об этом говорил сам Толстой. Но речь шла о связи с замужней крестьянкой лишь до женитьбы. Впрочем, быть может, и другой элемент повести — власть привычной физической близости — соответствовал семейным переживаниям Толстого в 1887 году и обусловил резкую реакцию «Крейцеровой сонаты».

* * *

23 сентября 1887 года Толстые отпраздновали серебряную свадьбу. По этому случаю в Ясную Поляну съехалось много родных и друзей.

В дневнике для характеристики своей двадцатипятилетней семейной жизни Толстой ограничился такими словами: «Могло бы быть лучше».

Глава девятая
И свет во тьме светит

1

Так назвал Толстой пьесу, которою занимался в девяностых и девятисотых годах. Перед читателем — драма самого автора — без малейшего желания скрыть ее автобиографический характер. Богатый помещик Сарынцов родился духовно и охвачен желанием изменить свою жизнь согласно учению Христа. Его жена защищает достояние семьи и установившиеся в ней дворянские традиции. Они говорят словами Льва Николаевича и Софьи Андреевны. В одном только Сарынцов и его жена не похожи как будто на чету Толстых: герои пьесы чрезвычайно мягки и уступчивы. Сарынцов сдается чересчур легко: желание не огорчать семью, не нарушать требований любви к окружающим почти без борьбы побеждает в нем веления сурового долга.

Но и эта подробность до известной степени соответствует пережитой Толстым действительности.

Софья Андреевна в автобиографии недоумевает: «Когда именно мы с ним разошлись — не знаю, уследить не могу. И в чем?..» «Следовать его учению я чувствовала себя бессильной. Отношения же личные между нами были прежние: так же мы любили друг друга, так же трудно расставались». Эти недоуменные замечания искренни и законны. Действительно, за девяностые годы, например, Толстой написал жене около 300 писем. Они полны дружелюбия, заботливости, беспокойства. Правда, в большинстве из них нельзя встретить прежних вспышек горячего чувства. Но даже и в этом отношении бывали исключения.

25 октября 1895 года он писал: «Хотел бы тебе написать, милый друг, в самый день твоего отъезда, под свежим впечатлением того чувства, которое испытал, а вот прошло полтора дня, и только сегодня пишу. Чувство, которое я испытал, было странное умиленье, жалость, совершенно новая любовь к тебе, любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя, и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что от того, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, начав писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только

изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью, и что закат будет совсем светлый и ясный…»

Это — позднею осенью.

Пришла следующая весна, пришел май, и Толстой пишет жене еще нежнее, прося ее: «читай одна».

«Как ты доехала и как живешь теперь, милый друг? Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне. Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных, испытанных мной, радостных впечатлений, и это в 69 лет от 53-летней женщины!..»

Эта весна старческого чувства наступила при особых обстоятельствах. В конце февраля 1895 года умер от скарлатины семилетний сын Толстых — Ванечка. Отец горячо любил мальчика, надеясь, «что он будет после него продолжать дело Божие». Горе матери было неутешно.

«Для чего умирают дети? — спрашивает Толстой. — Я пришел к убеждению, что единственная задача жизни всякого человека — в том только, чтобы увеличить в себе любовь, и, увеличивая в себе любовь, заражать этим других, увеличивая и в них любовь… Он (Ванечка) жил для того, чтобы увеличивать в себе любовь, вырасти в любви, так как это нужно было Тому, кто его послал, и для того, чтобы, уходя из жизни к Тому, кто есть любовь, оставить всю выросшую в нем любовь в нас, сплотить нас ею. Никогда мы все не были так близки друг к другу, как теперь, и никогда ни в Соне, ни в себе я не чувствовал такой потребности любви и такого отвращения ко всякому разъединению и злу. Никогда я Соню так не любил, как теперь…»

Бывали и другие обстоятельства, способствовавшие временами сближению супругов.

Но так обстояло дело далеко не всегда.

Для Софьи Андреевны, по-видимому, отношения окрашивались, почти исключительно привычными взаимными заботами о физическом здоровье, беспокойством друг о друге в разлуке, мягкостью и дружелюбием в письмах… Все это, действительно, оставалось неизменным.

Жесткие и резкие повседневные столкновения, которые чрезвычайно смягчены в автобиографической драме Толстого, казались Софье Андреевне довольно естественными в супружеской жизни. В душе Толстого эти столкновения, напротив, подтачивали и разрушали силу привычки и последние остатки любви.

Он не мог простить жене ее оппозиции. Если она не понимала

(не могла или не хотела понять) «истины», она все же должна была довериться ему и, ради любви, идти за ним. Она не только сама продолжала вести осужденный им образ жизни, но губила, с его точки зрения, все будущее детей. Все противоречия своей жизни он склонен был в глубине души ставить ей на счет. Ее «непониманию» он противопоставлял иногда несдержанные насмешки и издевательства. В его дневниках, письмах к друзьям, разговорах с ними проскальзывали намеки, отзывы, обвинения, которые отчасти доходили до нее.

Все это ставило и Софью Андреевну на военное положение.

Громадная энергия и практические таланты, проявленные ею в критическую минуту, много способствовали росту ее самоуверенности и апломба. Она видимо и определенно становилась главою семьи. Толстой не сумел ни настоять на своем, ни уйти. Он чувствовал себя кругом виноватым: прежде всего перед самим собою, перед своим учением, а затем и перед семьею, к нуждам которой он охладел. Его слабость была ее победою. Она пыталась вторгаться даже в официальные сношения мужа и выступала с заявлениями и поступками, которые не могли быть приятны Толстому. Иногда эти публичные выступления делались без его ведома, или даже против его желания. Бывали случаи, когда Толстому приходилось выпутываться из неприятных положений, в которые бестактно ставила его жена.

2

Не следует думать, однако, что авторитет Толстого в семье сошел на нет. Его любили. Да и кроме того, даже Софья Андреевна, все чаще проявлявшая в спорах и возражениях свою «прямоту», прекрасно понимала, что не следует чересчур натягивать струну: ведь лишившись Толстого, и она сама, и вся семья теряли то положение, на которое вознесла их всемирная популярность великого писателя. Сам Толстой упорно работал над собою. Он систематически старался смягчить порывы своей натуры, смириться. Тяготясь и возмущаясь жизнью семьи, волнуясь оппозицией его проповеди, он почти не прекращал своих укоров и замечаний, но старался делать их спокойно и без раздражения. Помимо его воли, однако, материал для недовольства накоплялся, и часто вдруг, неожиданно для него самого, происходил взрыв чрезвычайной силы.

Так было, например, с историей отказа от литературной собственности. После духовного перерождения Толстой чрезвычайно тяготился получением денег за свои сочинения. Он

сравнивал платное писательство с проституцией и с откупами… Между тем в энергичных руках Софьи Андреевны продажа сочинений приносила все большие доходы. По этому поводу велись бесконечные пререкания. Но Софья Андреевна категорически отказывалась стать на точку зрения мужа: сочинения его были достоянием семьи; без них невозможно жить. Уступая в этом вопросе почти также легко, как герой его драмы Сарынцов, — Толстой шел на компромиссы. Он пытался отстоять бесплатное распространение хотя бы тех его произведений, которые написаны после 1881 года, то есть после его «духовного рождения». В июле 1891 года произошло решительное объяснение. Вероятно, как обычно при сильных семейных взрывах, много сказано было лишнего. Софья Андреевна решила покончить с собою. Она побежала из дома в сторону железной дороги, чтобы броситься под поезд. Случайно ее встретил Кузминский (муж ее сестры), был поражен ее видом и состоянием и, добившись от нее признания, сумел успокоить ее и привести домой.

Толстой отложил свое намерение. Но уже вскоре он снова поднял этот вопрос. Он просил жену напечатать в газетах перечень его произведений, издавать которые отныне всем разрешается. Он советовал ей сделать это от ее имени. Если же она не хочет, то за его подписью. Он осторожно добавлял: «Если же и это тебе не нравится, не делай и этого. Мне не особенно это желательно: есть и хорошие и дурные стороны такого объявления». Софья Андреевна пишет: «На предложение это я тогда не согласилась, считая несправедливым обездоливать многочисленную и так небогатую семью нашу».

В сентябре Толстой возвратился к этой теме, но снова безрезультатно. Наконец, он послал ей для напечатания в газетах полный текст отречения от платы за все свои сочинения, написанные после 1881 года.

На этот раз заявление, без участия Софьи Андреевны, появилось в газетах.

Крупные и частые неудовольствия происходили между супругами также по поводу столкновений Софьи Андреевны с крестьянами. Она вела хозяйство в имениях мужа по его доверенности. Защищая владения от набегов отдельных крестьян, она видела себя вынужденной обращаться к судебным властям. Она преследовала мужиков за потравы, за порубку леса, кражи. При желании удерживать земельную собственность и вести хозяйство все это было неизбежно. Но когда именем помещика провинившихся мужиков или баб полиция тащила в острог, Толстой оказывался в ужасном положении и переживал

трагические минуты. Его предстательство перед женою редко имело успех. Все чувствовали, что, по крайней мере, формальная ответственность за хозяйственные распоряжения Софьи Андреевны должна быть снята с Толстого. В семье шли разговоры о формах официального раздела имущества.

Сам Толстой решительно не хотел больше владеть ничем. Он предложил поступить так, как если бы он умер. Наследники, так же как и в случае его смерти, должны были разделить все между собой. Состояние разбито было на 10 равных частей и распределено по жребию между девятью детьми и Софьей Андреевной. Формальная дарственная была подписана 17 апреля 1891 года.

Последним аргументом Толстого в семейных столкновениях всегда оставалась угроза ухода. Жена отвечала на нее обещанием покончить с собой.

Уход!., но куда и как мог уйти Толстой? Превратиться в безымянного бродягу? на это его не хватило даже в первые минуты восторга перед открытой евангельской истиной. Он был горд. Ему нравилось смиряться, когда в третьем классе кондуктор толкал его в спину, принимая по одежде за мужика, или когда в Петербурге прислуга гнала его от дверей аристократических знакомых. Это могло быть даже забавным. Ведь стоило ему назвать себя, и сильные мира сего стремительно выбегали на лестницу и не знали, как достойно почтить и принять осчастливившего их посещением «старого мужика». На положении «не помнящего родства» бродяги ему грозили тюрьмы, пересылки по этапам с уголовными преступниками, бесконечные унижения. Все это прекрасно выглядело лишь в мечте, в легенде: недаром художественное чутье не позволило ему докончить начатый рассказ о превращении императора Александра I в бродягу и старца Федора Кузмича.

Как раз в девяностых годах Толстой писал замечательную повесть «Отец Сергий». Его герой достиг необыкновенной славы. Со всей России стекалась к нему толпа за духовной помощью и утешением. По сложным мотивам, в которых много толстовских переживаний, отец Сергий мечтал бежать от славы людской. В его келье давно висело для этой цели мужицкое платье. Но он не бежал. И лишь глубокое падение (почти преступление) насильственно разлучили его с прежнею жизнью. Не находил в себе силы бежать от привычной жизни и Сарынцов в пьесе «И свет во тьме светит».

Самого Толстого, помимо гордости и любви славы людской, удерживали и другие мотивы.

Как всякий пророк, он чувствовал неодолимую потребность

учить людей. В «Исповеди» по отношению к этой «похоти» рассеяно много сарказмов. Но после духовного перерождения страсть учительства только усилилась. Льстивые друзья уверяли, что устами Толстого говорит Бог. Громадные духовные силы великого писателя неудержимо искали выхода, и он сам страстно желал успеть в положенный ему срок жизни сказать людям все, что думал и чувствовал. Затерявшись в толпе безымянных бродяг, он должен был отказаться от пророческих функций. Он мог бы влиять лишь в очень ограниченных рамках на ничтожное количество встречных людей.

Привычная жизнь крепко держала его. И было бы величайшим чудом, если бы, оборвав все ее нити, семидесятилетний старец все-таки сделался безымянным бродягою.

Уйти иначе?., сохранить свое имя, писательство, положение? Но в таком компромиссе гениальный и искренний Толстой мог видеть только миллион напрасных терзаний для себя и семьи и перспективы бесконечных фальшивых положений.

Он склонялся к компромиссу меньшему и оставался (как говорил сам) «приживальщиком в богатой семье».

Но он мучился. Вот на удачу несколько выписок из его дневника:

«Уныло, гадко. Все отталкивает меня в той жизни, которой живут вокруг меня. То освобождаюсь от тоски и страданья, то опять впадаю…»

«Главный соблазн в моем положении тот, что жизнь в ненормальных условиях роскоши, допущенная сначала из-за того, чтобы не нарушать любви, потом захватывает своим соблазном и не знаешь, живешь так из страха нарушить любовь, или из подчинения соблазну?»

«Я живу, ведя сам со всеми детьми грязную, подлую жизнь, которую лживо оправдываю тем, что я не могу нарушать любви. Вместо жертвы, примера победительного, подлая, фарисейская, отталкивающая от учения Христа жизнь».

«Молился, чтобы Он избавил меня от этой жизни. И опять молюсь, кричу от боли. Запутался, завяз, сам не могу, но ненавижу себя — свою жизнь».

Боль, от которой он «кричал», заставляла его иногда подготовлять уход из дома, несмотря ни на что. В источниках остались следы двух таких попыток. Вероятно, число их было больше.

8-го июля 1897 года Толстой написал жене письмо, в котором сообщал свою решимость уйти. «Решение это должно быть исполнено». Он благодарил жену за 35 лет совместной жизни и

просил ее «отпустить его добровольно, не искать его, не сетовать на него, не осуждать его». Он не мог продолжать жить так, как жил последние 16 лет, то борясь и раздражая семью, «то сам подпадая под те соблазны, к которым он привык и которыми окружен…» Главное же, вступая в семидесятый год, он, как старый индус, хотел уйти в уединение, «в лес», чтобы «последние годы своей жизни посвятить Богу…»

Но Толстой не ушел, и письмо это не было передано Софье Андреевне: она прочла эти строки уже после его смерти.

Другой раз он собирался уйти через год и искал для этого помощи у одного финляндского писателя-последователя, которого никогда не видал.

Впрочем теперь, в девяностых годах, он готов был считать свой уход не подвигом, а непростительной слабостью. С конца восьмидесятых годов Толстой переживал новую фазу, или, как говорят его благочестивые биографы, поднялся на новую, «высшую ступень религиозно-нравственного развития».

3

В пору восторга перед открытой истиной преобразование мира казалось легко и просто. «Стоит только» людям «одуматься», понять бессмыслицу, ужас своей жизни, и они неизбежно примут, не могут не принять — путь спасения, намеченный Христом и вновь разъясненный книгою «В чем моя вера?» Путь этот прост и легок. Он указан Евангелием и — главным образом — пятью заповедями Нагорной проповеди. Преобразование мира близко, но оно совершится не словами, не устной пропагандою, а примером, устанавливающим на виду всего человечества возможность, легкость и счастье истинно христианской жизни. Однако, ожидания неизбежного, близкого (в течение какого-нибудь десятилетия) переворота не оправдались. Люди упорно не шли в открытое для них царство Божие на земле. Отказы от военной службы по религиозным мотивам оставались единичными явлениями. Смельчаки, решавшиеся на них, терпели величайшие муки. Толстовские земледельческие колонии одна за другой распадались. Сам Толстой пробовал осуществить в личной жизни христианский идеал, но, по его словам, «обломал руки»…

Наступило разочарование — и не только в возможности быстрого осуществления истины во внешнем мире, но и в возможности осуществления ее даже в своей жизни.

Приходилось идти на примирение истины с мирской суетою, на компромиссы. Но компромиссы вызывали у Толстого

отвращение. Моментами им овладевало отчаяние, и он начинал сомневаться в истинности учения… А между тем в душе совершалась постоянная, медленная работа. Она дала неожиданные результаты.

В вероучении Толстого еще раз наступила новая фаза. Теперь он уже не защищал положений, выдвинутых с такой горячностью в книге «В чем моя вера?»

О, нет! Он радовался всем сердцем, что «пережил» эти взгляды.

В чем же состояла вновь открытая истина? Теперешняя вера Толстого переносила главное дело христианина на земле из внешней области, из области поступков — во внутреннюю, в самосовершенствование.

Ведь никто не призван изменять мир во имя истины. Никто не может даже в своей жизни осуществить истину, как бы ему хотелось, но может, не заботясь о том, что делается в мире (это сделает Бог), не заботясь и о том, насколько он представляется последовательным людям, по мере своих сил, перед Богом осуществлять истину, то есть исполнять Его волю. Воля эта в увеличении любви в себе и мире. Увеличением любви, соединением в одно всего любимого человек готовит себе слияние после плотской смерти с Богом и, стало быть, жизнь вечную.

Христианство неосуществимо немедленно?

Что же из этого? Результаты наших поступков не в нашей власти. Ведь в гордом желании преобразовать мир неизбежно встречаешь препятствия, которые никем не могут быть учтены вперед. Даже в своей личной жизни трудно переменить внешнее положение. На каждом шагу приходится считаться с непреодолимыми противоречиями; чтобы идти на пролом, неизбежно оказывать противление злу насилием, нарушать заповедь любви по отношению к окружающим и близким… ведь жизнь так сложно переплетена с прошедшими соблазнами, прошедшими грехами!..

Итак, нельзя принимать христианское учение как правила поведения. При подобном взгляде, конечно, христианство было бы неисполнимо. Нет, христианство дает лишь идеал, к которому должно стремиться. Жизнь по учению христианскому есть движение к божескому совершенству.

Поступки наши, изменение внешних условий, зависят не от нас. Даже в высшей степени важно сделать над собой усилие, чтобы отказаться навсегда от попыток изменения внешних условий. Важно только признание и исповедание истины.

«Стоит людям только понять это: перестань заботиться о

делах внешних и общих, в которых они не свободны, а только сотую той энергии, которую они употребляют на внешние дела, употребить на то, в чем они свободны, на признание и исповедывание той истины, которая стоит перед ними, на освобождение себя и людей от лжи и лицемерия, скрывавших истину, для того, чтобы без усилий и борьбы тотчас же разрушился тот ложный строй жизни, который мучает людей и угрожает им еще худшими бедствиями, и осуществилось бы то Царство Божие или хоть та первая ступень его, к которой уже готовы люди по своему сознанию».

Таким образом, проповедь поступками, делами отпадает. К тому же:

«Надо помириться с тою мыслью, что как бы вы ни жили по Христу, люди, не следующие Христу, будут осуждать вас».

«Дело христианина, посредством которого он достигает всех целей, — разжигать свой огонь и светить перед людьми… Надо, чтобы в деятельности нашей были корни, а корни эти в нашей покорности воле Бога, в нашей личной жизни, посвященной совершенствованию и увеличению любви».

Теперь все у Толстого резюмируется так: «Если сделалось в душе, то и в мире перемена будет».

Очиститесь сами, создайте из себя светильник христианской истины, докажите на себе возможность христианской, т. е. разумной и счастливой жизни при всех возможных условиях — и это будет наилучшим исповеданием веры, наилучшими «поступками», которые просветят людей. А когда люди будут сильны верою, чисты, как голуби, и мудры, как змеи, — они без борьбы победят все внешние препятствия, и мир переделается.

Итак, личное совершенствование и любовь при всяких жизненных условиях — вот новый катехизис Толстого.

С этой новой точки зрения уход из семьи, жившей не так, как хотелось Толстому, — терял всякий смысл.

Напротив, это было испытание, посланное Богом. И чем труднее становилось положение его в семье, чем больше слышал он извне обвинений в лицемерной жизни среди достатка и удовольствий, — тем больше представлялось материала для работы над собою, чтобы смиряться, прощать и любить.

Позднее он писал в дневнике: «Если бы я слышал про себя со стороны, — про человека, живущего в роскоши, отбивающего все, что может, у крестьян, сажающего их в острог, и исповедующего, и проповедующего христианство и дающего пятачки, и для всех своих гнусных дел прячущегося за милой женой, — я бы не усомнился назвать его мерзавцем! А это-то самое и нужно мне, чтобы мне освободиться от славы людской и жить для души…»

(Запись от 2 июля 1908 года).

4

«Самосовершенствование»!.. — любимое понятие его юности, которое в «Исповеди» подверглось столь суровому анализу. Правда, теперь он говорил и думал о самосовершенствовании в определенном направлении. Но ведь и христианское жизнепонимание развертывало перед ним необозримое поле для мудрствования. В детстве он философствовал почти до сумасшествия. И теперь, на старости лет, тонкости его диалектики заполняли подчас удивительным содержанием старое понятие самосовершенствования.

Любить… да, конечно! Но кого и как любить? Можно ли любить непосредственно человечество, род людской? Или это возможно только через Бога, после осознанной в себе любви к божественной части своего существа? И можно ли сохранить личные привязанности, проникаясь божественной любовью? И можно ли любить врагов или надо сначала сделать из них друзей, а потом уж полюбить их?.. Он пишет: «Вы говорите, нельзя любить Ирода. Не знаю. Но знаю, и вы знаете, что его надо любить; знаю, и вы знаете, что если я не люблю его, то мне больно, что у меня нет жизни, и потому надо стараться работать и можно. Я представляю себе человека, прожившего всю жизнь среди любящих его в любви, но не любившего Ирода, и другого, который все силы употребил на любовь к Ироду и оставался равнодушным к любящим его и 20 лет не любил, а на 21-м полюбил Ирода и заставил Ирода полюбить себя и других людей, — не знаю, кто лучше…»

В области исполнения «воли Пославшего» — тоже, конечно, бесконечные вопросы. И здесь Толстой доходит до таких, например, рассуждений:

«Склоняюсь в светлые минуты думать, что все дело в проявлении в себе любви, для чего нужно только устранять соблазны. А устранишь соблазны, и проявится любовь, она потребует дела, будет ли это просвещение всего мира или приручение и смягчение паука. Все равно, важно».

К счастью, клубок любви, который подарила ему волшебница-судьба, по большей части вел его мимо всех этих диалектических тонкостей учения — прямо на помощь страдающему человечеству.

Летом 1891 года в Ясную Поляну приехал давнишний знакомый Толстых — Раевский, помещик Рязанской губернии. На

центральную Россию надвигался голод, и Раевский не мог говорить ни о чем другом. Графиня Александра Толстая («бабушка») гостила в то время в Ясной и вспоминает, с каким раздражением встречал эти речи Толстой. Он противоречил каждому слову гостя и бормотал, что все это ужасный вздор и что если бы и настал голод, то нужно только покориться воле Божией. Раевский, не слушая его, продолжал сообщать свои опасения, «а Лев не переставал вить a la sourdine (под сурдинку (фр.)) свою канитель, что производило на слушателей самое странное впечатление».

В сентябре к Толстому обратился известный писатель Лесков с запросом, как быть ввиду голода. Толстой отвечал, что он против участия в сборе пожертвований и в помощи голодающим. Он находил, что добрые дела не в том, чтобы накормить хлебом во время голода, а в том, чтобы любить и голодных и сытых.

Эти теории не устояли перед ужасною действительностью. Совершив две поездки в районы голодающих, Толстой неожиданной взял у Софьи Андреевны 500 рублей и с двумя дочерьми отправился в Рязанскую губернию к тому самому Раевскому, рассказы которого о голоде он встретил летом с таким предубеждением. У Раевского дело уже было начато: функционировали столовые для детей и стариков, притекали пожертвования. Софья Андреевна поместила в газетах воззвание о помощи голодающим. Со всей России и из-за границы (особенно из Англии) к Толстому стали собираться деньги, вещи и люди для организации помощи. В форме отчетов Толстой написал ряд блестящих статей, которыми воспользовался, чтобы проводить свои любимые идеи. Некоторые из этих статей могли появиться только заграницей.

Самые близкие ему люди, работавшие с ним, сомневались и скорбели об его непоследовательности.

— Как, после всего, что он говорил о денежной помощи, взять пожертвованные деньги и этим краденым у народа товаром обделять обворованный народ!..

На него сыпались нападки последовательных толстовцев. Он сам, не переставая, бранил себя и свое дело…

А тем временем, в течение двух тяжелых зим, с большою практичностью, он спасал от голодной смерти погибавшее население четырех уездов. Число столовых достигло 246-ти. В них кормилось 13 000 взрослых и 3000 детей. Он кормил два раза в день и тратил на человека в месяц от 95 копеек до 1 руб. 30 коп. Он не удовольствовался этим обширным хозяйством. В глухие зимние месяцы, когда замерзало население, лишенное обычного своего топлива — соломы, он устроил снабжение беднейших

дровами. Он отбирал у крестьян сотни лошадей, из-за бескормицы осужденных на смерть, и организовал их питание. Он выписал большие запасы льна и лыка и раздавал их населению для изготовления обуви и холста. Он устраивал молочные столовые для грудных детей. Весной он выдавал нуждающимся крестьянам на семена овес, картофель, коноплю, просо. Он покупал к началу полевых работ лошадей и раздавал их. Людям, еще не дошедшим до полного нищенства, он продавал по дешевым ценам рожь, муку, печеный хлеб…

Эта кипучая деятельность всколыхнула русское общество. Во многих местах России открывались столовые по толстовскому образцу. Во все последующие голодовки пример Толстого, его способы определения нуждающихся, его практические приемы помощи служили образцом.

В конце столетия Толстому снова пришлось быть непоследовательным. На этот раз дело шло о денежной помощи духоборам. Эта секта, близкая по своему учению к толстовским воззрениям, подверглась жестоким гонениям русского правительства.

Толстой принял в судьбе духоборов самое горячее участие. Когда, после сложных хлопот, удалось добиться от царя разрешения на выезд восьми тысяч духоборов за границу, Толстой организовал сбор пожертвований для оплаты пути. Он дописал, отделал и продал в России и за границей первое издание романа «Воскресение», чтобы увеличить фонд духоборов.

Эти нестерпимые «преступления» снова вызвали целый ряд нападок на него со стороны правоверных толстовцев. Одному из них он отвечал:

«Все, что вы пишете мне, совершенная правда, и я сам всегда так не только думал и думаю, но всегда так чувствовал и чувствую, что просить помощи материальной для людей, страдающих за истину, нехорошо и совестно. Вы спросите, для чего же я присоединился к воззванию, подписанному Чертковым, Бирюковым и Трегубовым? Я был против, также как был даже против помощи голодающим в той форме, в которой мы ее производили, но когда вам говорят: есть дети, старики, слабые, брюхатые, кормящие женщины, которые страдают от нужды, и вы можете помочь этой нужде своим словом или делом, скажите это слово и сделайте это дело. Согласиться, значит стать в противоречие с своим убеждением, высказанным о том, что помощь настоящая, всем всегда действительная, состоит в том, чтобы очистить свою жизнь от греха и жить не для себя, а для Бога, и что всякая помощь чужими, отнятыми от других трудами, есть обман, фарисейство и поощрение фарисейства; не

согласиться — значит отказать в слове и поступке, который может сейчас облегчить страдания нужды. Я по слабости своего характера всегда избираю второй выход, и всегда это мне было мучительно».

Еще в 1885 году Толстой говорил посетившему его писателю: «Миллионы русских грамотных стоят перед нами, как голодные галчата с раскрытыми ртами и говорят нам: господа, родные писатели, бросьте нам в эти рты достойной вас и нас умственной пищи: пишите для нас, жаждущих живого, литературного слова, избавьте нас от рыночной пищи. Простой и честный русский народ стоит того, чтобы мы ответили на призыв его доброй и правдивой души. Я об этом много думал и решился, по мере сил, попытаться на этом поприще».

Так возникла целая серия великолепных народных легенд и рассказов, написанных Толстым. Он заимствовал их повсюду: из рассказов странников, из пения посещавших его народных сказочников, из чтения житий святых. Эти строгие произведения удивительны по своей сдержанной силе, краткости, простоте и художественной красоте.

Созданием образцов подлинной народной литературы Толстой, однако, не удовольствовался. Ему хотелось во что бы то ни стало двинуть ее широким потоком в самую гущу крестьянства. Книжка шла в то время в народ через коробейников, мелких торговцев, разносивших или развозивших ее по деревням вместе с другими товарами в лубочных коробах. Такая литература называлась поэтому «лубочной». Народные книжки с картинками стоили по 1, по $1\ ^1/_2$ копейки, но текст в большинстве случаев представлял вредный вздор, издававшийся к тому же крайне неопрятно.

Толстой атаковал одного из крупнейших издателей лубочной литературы и предложил ему постепенно заменять свои книжки более осмысленными. Цены и способы распространения должны были остаться прежние. Издатель согласился. Тогда по мысли Толстого возникла фирма «Посредник». К участию в работе удалось привлечь крупные литературные силы. Сам великий писатель принимал в идейной стороне дела близкое и горячее участие: в течение 10 лет он руководил выбором книг, намечал темы, исправлял, переделывал, редактировал присланные рукописи. Ввиду строгости цензуры, приходилось, по его выражению, постоянно танцевать на канате. Но без больших средств трудно было поставить дело широко: «Посредник» постоянно нуждался в деньгах. И Толстой щедро сыпал издательству — если не прямо золото, то свои произведения, первые издания которых, конечно, всегда давали огромные

барыши. Так проникли в народ миллионы экземпляров хороших книг и картин, прилично изданных.

Роль денег, проклятых в теории, не ограничивалась в жизни Толстого перечисленными «преступлениями». Его пьесы шли на императорских сценах. Известный процент сбора, по установившемуся порядку, откладывался на счет автора, несмотря на его отказ от всяких гонораров. Софья Андреевна, конечно, учла это обстоятельство, и Толстой получил возможность располагать ежегодно двумя-тремя тысячами рублей. Это были его «карманные деньги», которые он полностью тратил на ненавистную ему благотворительную помощь.

Этим, конечно, дело не ограничивалось. Толстой постоянно хлопотал за кого-нибудь. Он посылал больных со своими письмами в город к знакомым врачам. Его влиятельные знакомые (особенно юристы) завалены были просьбами Толстого за разных лиц (преимущественно крестьян), нуждавшихся в защите. Особенное внимание и участие его привлекали люди, томившиеся в заточении за отказ от воинской повинности, а также всевозможные сектанты, преследуемые за религиозные убеждения. Толстой не останавливался ни перед какими хлопотами и даже не раз писал царю.

А рядом с этим шел непрерывный прием людей, нуждавшихся в его советах, и бесконечная переписка, причем ни одно письмо, требовавшее, по его мнению, отклика, не оставалось без ответа.

И все это не останавливало писательской работы. За 10 лет (1890–1899) Толстой написал несколько десятков статей, из которых некоторые приняли такие большие размеры, как «Что такое искусство?» или «Царство Божие внутри вас». Оригинальные мысли Толстого об искусстве хорошо известны. Что касается «Царства Божия», то первоначально это была статья против воинской повинности. Эта статья разрослась в большую книгу, излагающую основы христианского анархизма. Здесь резюмировано его новое (девяностых годов) понимание христианства и на этой основе отвергнуты церковь и государство, держащиеся насилием и, по мнению Толстого, ни к чему не нужные в наше время.

За тот же период Толстой успел написать полтора десятка художественных произведений, среди которых особенный успех выпал на долю: «Воскресения», «Отца Сергия, «Хозяина и работника».

Старания «полюбить царя Ирода» или «приручить паука» в теории казались Толстому не менее важными, чем просвещение всего мира или иная деятельность на пользу людей.

На практике, со всею горячностью, он непрестанно бросался

на помощь погибающим. К счастью, он не только забывал при этом о пауках и об Иродах, но часто сознательно шел против своих теорий. Узость толстовцев была ему совершенно чужда. Он не знал боязни непоследовательности и не обращал внимания на протесты «правоверных».

Драма «И свет во тьме светит» не окончена. Насколько можно судить по оставшемуся конспекту пятого акта, Толстой хотел показать, как «свет» неохристианского учения торжествует победу над мраком современной практики жизни. Но свести концы с концами не удалось. Герой драмы погибает довольно бесславно. Все безнадежно рушится вокруг него. В момент смерти ему остается только «радоваться, что обман церкви надорвался, и жизнь его осмыслена для него».

Элементы действительной жизни великого писателя складывались совершенно иначе. В лабиринте и тьме его переменчивых мудрствований Толстому всегда светило его великое сердце.

И именно этот свет, свет горячей и отзывчивой работы на пользу людей освещал и освещает до сих пор мрак человеческой жизни.

Глава десятая
Закат

1

Как-то в половине девяностых годов графиня Софья Андреевна беседовала с учителем младших сыновей. Зашла речь о «Крейцеровой сонате» и об отношениях мужчины и женщины. Вошел Толстой.

— Вот вы какими вопросами занимаетесь! — сказал он. А по-моему те, которые в романах кончают свадьбой, словно это так хорошо, что дальше и писать нечего, — все они мелют сущий вздор. Уж если нужно сравнение, то брак следует сравнивать с похоронами, а не с именинами. Человек шел один — ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Что тут и говорить, что если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногою бабы, то она будет тащиться за мною и мешать мне.

— Зачем же ты женился? — спросила графиня.

— Я не знал тогда этого.

— Ты, значит, постоянно меняешь свои убеждения.

— Всякий человек должен стремиться к совершенствованию. Лично я не могу жаловаться на семейную жизнь. Напротив, моя семейная жизнь сложилась счастливо. Я знаю многих, которые очень хорошо сошлись друг с другом и живут хорошо. Но все-таки брак — не праздник. Сходятся два человека, чтобы мешать друг другу.

— А по-моему, они сходятся, чтобы помогать друг другу.

— Какая же помощь? Сходятся два чужих между собою человека, и они на всю жизнь остаются чужими. Сравнивают мужа и жену с двумя параллельными линиями. Какие параллельные линии! Я всегда говорил, что как трудно, почти невозможно отыскать между множеством пересекающихся линий две параллельные, так трудно встретить две сходные натуры. Брак скорее пересечение двух линий: как только пересеклись, так и пошли в разные стороны.

Конечно, кто хочет жениться, пусть женится. Может быть, ему удастся устроить свою жизнь хорошо. Но пусть только он смотрит на этот шаг, как на падение, и всю заботу приложит лишь к тому, чтобы сделать совместное существование возможно счастливым.

В конце 1899 года Толстой писал в дневнике: «Главная причина семейных несчастий — та, что люди воспитаны в мысли,

что брак дает счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература; но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворенное половое желание. Страдание в виде неволи, рабства, пресыщения, отвращения, всякого рода духовных и физических пороков супруга, которые надо нести: злоба, глупость, лживость, тщеславие, пьянство, лень, скупость, корыстолюбие и разврат, — все пороки, которые нести особенно трудно не в себе, а в другом и страдать от них, как от своих; и такие же пороки физические: безобразие, нечистоплотность, вонь, раны, сумасшествие и прочие, которые еще труднее переносить не в себе. Все это или хоть что-нибудь из этого всегда будет, и нести приходится всякому тяжелое. То же, что должно выкупать: забота, удовлетворение, помощь, — все это принимается, как должное; все же недостатки — как не должное, и от них страдают тем больше, чем больше ожидалось счастья от брака. Главная причина этих страданий та, что ожидается то, чего не бывает, а не ожидается то, что всегда бывает. И потому избавление от этих страданий только в том, чтобы не ждать радостей, а ждать дурного, готовясь переносить его. Если ждешь всего того, что описано в начале «Тысячи и одной ночи»: ждешь пьянства, вони, отвратительных болезней, — то упрямство, неправдивость, пьянство даже можно не то что простить, а не страдать и радоваться, что нет того, что могло бы быть, что описано в «Тысяче и одной ночи»: нет сумасшествия, рака и т. п. И тогда все доброе ценится».

С годами Толстой все чаще и чаще высказывает свои мнения о женщинах. Мнения эти ужасны. Он произносит свои филиппики перед приятелями и учениками — иногда даже в присутствии дам. Он идет дальше и часто намекает, что взгляды его — результат наблюдений над женою и дочерьми.

«Если бы мужчины, — говорил он, — знали всех женщин также, как мужья знают своих жен, то они никогда с ними ни о чем сериозно не разговаривали бы…»

Он пишет в дневнике (16 июля 1901 года): «Женщин узнают только мужья (когда уже поздно). Только мужья видят их за кулисами. От этого Лессинг и говорил, что все мужья говорят: одна была дурная женщина и та моя жена. Перед другими же они так искусно притворяются, что никто не видит их, какие они в действительности, в особенности, пока они молоды».

А, казалось бы, наблюдения Толстого, хотя бы над дочерьми, должны были исправить его взгляды на женщин. Все три дочери Толстого высказывали по отношению к отцу неизменную

преданность. Все они в той или иной степени подчинялись авторитету отца, охотно входили в детали его духовной жизни, деятельно помогали ему в обширной переписке.

Напротив, пятеро сыновей великого писателя стояли в стороне от его учения. Двое старших (Сергей и Илья Львовичи), выросшие под обаянием прежнего Толстого, по-видимому, были привязаны к отцу. Остальные трое были менее близки ему. Они росли в период тягостных осложнений в семье, и симпатии их склонялись на сторону матери.

Мало-помалу семья становилась меньше. Взгляды Толстого на женщин нисколько не мешали его сыновьям рано вступать в брак; последний из них венчался в 1901 году. После свадьбы они устраивались своим хозяйством и лишь временно наезжали гостить в Ясную Поляну.

Но и дочери Толстого, разделявшие его взгляды, когда пришел их час, вышли замуж — Мария Львовна в 1897 году за князя Оболенского, а Татьяна Львовна в 1899 году за помещика М. С. Сухотина.

Толстой остался втроем — с женою и младшей дочерью.

Девятисотые годы — время частых и тяжких болезней старевшего Толстого. В 1901 году он был так плох, что на семейном совете решено было, по настоянию врачей, перевезти его на зиму на южный берег Крыма. Узнав об этом, графиня Панина предоставила в распоряжение семьи великолепную виллу в Гаспре. Здесь Толстой выдержал подряд три тяжелых болезни. Моментами казалось, что час смерти настал. Врачи теряли надежду. Но необыкновенно крепкий организм больного, чрезвычайно внимательное лечение съехавшихся со всех сторон врачей и совершенно исключительный уход спасли Толстого. Во время этой тяжкой зимы Лев Николаевич окружен был нежным вниманием и любовью семьи. Софья Андреевна не спала ночей и почти не отходила от его постели. Сыновья, дочери, друзья съезжались в Гаспру, жили подолгу и сменяли друг друга у постели больного.

По общим отзывам, Толстой, находясь между жизнью и смертью, был бесконечно терпелив, добр и ласков к окружающим.

Еще в Ясной Поляне Софья Андреевна писала в дневнике:

«Вчера утром я привязывала ему согревающий компресс, он вдруг пристально посмотрел на меня, заплакал и сказал: «спасибо, Соня. Ты не думай, что я тебе не благодарен и не люблю тебя…» И голос его оборвался от слез, и я целовала его милые, столь знакомые мне руки и говорила ему, что мне счастье ходить за ним, что я чувствую всю свою виноватость перед ним, если не довольно дала ему счастья, чтобы он простил меня за то,

чего не сумела ему дать, и мы оба, в слезах, обняли друг друга, и это вышло то, чего давно желала душа моя, — это было серьезное, глубокое признание наших близких отношений всей 39-летней жизни вместе… Все, что нарушало их временно, было какое-то внешнее наваждение и никогда не изменяло твердой, внутренней связи самой хорошей любви между нами…»

После крымской болезни семья круглый год оставалась в Ясной Поляне. Воспитание детей отошло. Софья Андреевна наезжала в Москву лишь изредка, по делам.

Но разногласия супругов не прекратились. Прежней любви — теплой и человеческой — уже незаметно в будничных отношениях Толстого к Софье Андреевне. Он даже сознательно работал над избавлением себя от исключительных привязанностей — это входило в его теории. Его идеал — ровное благожелательство ко всем людям, и в особенности к врагам. Исключительные привязанности к близким людям — грех и должны быть преодолены. Конечно, все это теории. В действительности, в повседневной жизни он оставался человеком и, потеряв прежнюю любовь к жене, далеко не всегда способен был относиться к ней «по-христиански». Часто он волновался, сердился, издевался.

Софья Андреевна, напротив, сохраняла остатки личной привязанности к нему. Она ухаживала за ним, всячески заботилась о его телесном здоровье, волновалась и краснела от малейших знаков его внимания. Но учение Толстого она ненавидела всеми силами души: не говоря уже о том, что оно стояло в полном противоречии с ее любовью к семье и к материальным условиям жизни, оно, это учение, отнимало у нее душу любимого человека и ставило преграду между ним и ею. Оставшись изолированной среди толпы поклонников Толстого, она ожесточилась и при малейших намеках на толстовские идеи считала необходимым возражать. Насмешки Толстого, его протесты, его отзывы о семье, браке и женщинах действовали на нее вызывающе и заставляли со своей стороны, не стесняясь ничьим присутствием, доказывать противоречия толстовских идей и смеяться над ними. При этом ее самоуверенность, на которую жаловался Толстой еще в первые годы после женитьбы, развилась до невероятных размеров. Полное неуважение к идеям «великого» Толстого шокировало его благоговейных последователей и не могло не действовать на него самого. Он замолкал, уходил к себе, иногда прорывался и делал сцены.

2

В перерывы между болезнями Толстой, несмотря на свою старость, чувствовал себя еще настолько бодрым, что каждый день совершал продолжительную верховую поездку в 10–15-20 верст. Он выбирал при этом незнакомые лесные тропинки, спускался в овраги, заставлял лошадь брать трудные препятствия, поднимался почти по вертикальным откосам и поражал молодых спутников своею отвагою. В девяностых годах, в Москве, он вздумал даже учиться в манеже велосипедной езде, быстро овладел техникой и некоторое время совершал длинные поездки на велосипеде.

Все же старость давала себя знать. Физический труд пришлось прекратить. Удивительная работоспособность Толстого в деле литературном заметно падала. Вечерами он мог уже только читать, играть в шахматы или слушать музыку. И тем не менее за последние десять лет жизни он написал около 40 статей по философским, религиозным и общественным вопросам. К этому же периоду относится более 30 беллетристических произведений Толстого и среди них такие вещи, как «Живой труп», «И свет во тьме светит», «Хаджи Мурат», «После бала», «Воспоминания детства».

В 1901 году семь «смиренных» митрополитов и епископов, составлявших в то время синод православной церкви, предали Толстого анафеме. Они были правы, конечно, отлучая его от церкви: он давно ополчился против нее. Но в силу этого акта популярность Толстого только усилилась. Сначала Лев Николаевич не хотел отвечать и удерживал Софью Андреевну. Она рвалась в бой и настояла на своем: ее довольно бестолковое открытое письмо к митрополиту Антонию появилось в печати.

Позднее Толстой отвечал синоду. Он воспользовался случаем, чтобы еще раз изложить основы своей веры. Он заявлял между прочим: «Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю истину более всего на свете».

Истину эту он не собирался никому навязывать, но не намерен от нее отказываться. Ибо ему «надо самому одному жить, самому одному и умереть».

Приведенные выдержки знаменуют начало новой перемены в душе Толстого, новой фазы его развития.

Теперь он затрудняется что-либо проповедывать, ибо он понемногу отходит от всякой догмы. Даже в исключительное значение христианства он верит плохо. Он изучает другие религии и везде находит одно и то же. Это замечательное явление объяснил ученый раввин, с которым Толстой изучал на еврейском языке талмуд и пророков.

— Толстой брал из текста только то, что ему было надо. Мимо остального он проходил с полным равнодушием.

Замечая в каждой религии только те мысли, которые ему были дороги, Толстой в конце концов решил, что только эти истины внушены Богом, ибо они соответствуют совести всех. Все остальное — разноголосица и, стало быть, дело рук человеческих.

С такой точки зрения Евангелие теряло свое исключительное значение. И Толстой охладел к нему.

Но, чтобы оставаться универсальною, религиозная мысль должна была стать очень худосочною. И в самом деле вся религия Толстого свелась теперь к немногим положениям. Твори волю Бога, пославшего тебя на землю. Слиться с Ним предстоит тебе после плотской смерти. Воля Бога состоит в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними.

Однако, даже такие широкие формулы не всегда удовлетворяют его. Он записывает в дневнике:

«Как-то спросил себя: верю ли я? Точно ли верю в то, что смысл жизни в исполнении воли Бога, воля же в увеличении любви (согласия) в себе и мире, и что этим увеличением, соединением в одно любимого — я готовлю себе будущую жизнь? И невольно ответил, что не верю так, в этой определенной форме. Во что же я верю? — спросил я. И искренно ответил, что верю в то, что надо быть добрым: смиряться, прощать, любить. В это верю всем существом».

Так мало осталось от его долголетних исканий! Иногда он сомневался во всем — даже в существовании Бога. В сущности Бога-творца, Бога-промыслителя, Бога, которого можно просить о чем-либо, — Толстой не признавал в теории. Бог для него непостижим. Бог — это то все, бесконечное все, чего он сознает себя частью. И потому все в нем граничит Богом, и он чувствует его во всем.

Это очень много и очень неопределенно. При таком представлении Толстой иногда задумывался: нельзя ли вообще обойтись без Бога?

«Мне стало приходить в голову, — пишет он, — что можно, что особенно важно для единения с китайцами, с конфуцианами, с буддистами и нашими безбожниками, агностиками, — совсем обойти это понятие. Думал я, что можно удовольствоваться одним понятием и признанием того Бога, который есть во мне, не признавая Бога в самом себе, — Того, который вложил в меня частицу себя. И удивительное дело — мне вдруг стало становиться скучно, уныло, страшно. Я не знал, отчего это, но почувствовал, что вдруг страшно духовно упал, лишился всякой

радости и энергии духовной. И тут только я догадался, что это произошло оттого, что я ушел от Бога. И я стал думать — странно сказать — стал гадать, есть ли Бог или нет Его, и, как будто, вновь нашел Его…»

Ему хочется «опереться» на веру в Бога и в бессмертие души. Главное же, Бог ему «нужен» для того, чтобы выразить то, куда он идет и к кому придет.

Отношения Толстого к этому «необходимому» для разных целей Богу — весьма неопределенны. Еще в восьмидесятых годах публицист и поэт Аксаков говорил, что у Толстого — свой собственный, особый контокоррентный счет с Богом. В девятисотых годах Максим Горький, близко наблюдая Толстого в Крыму, утверждал: «С Богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге»».

Новая фаза духовного развития Толстого выражалась в ослаблении догмы и, стало быть, в росте веротерпимости. Прежние гордые и непоколебимые истины гасли и забывались. Он способен теперь вдруг записать в дневнике такую мысль: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь». С точки зрения прежних его теорий, — каждая из этих деятельностей могла быть подвергнута строжайшей критике.

Ему казалось, что уже давно он победил смерть своими рассуждениями. Он долго работал (еще в восьмидесятых годах) над книгою «Жизнь и смерть». Во время этой работы оказалось, что для христианина «смерти нет», и трактат явился в свет под заглавием «О жизни». По представлению Толстого, бессмертная душа, после смерти тела, сливается со «всем», с Богом и таким образом, освобождаясь от похотливого тела, своей темницы, переходит в новую фазу вечной жизни. Последние 20–25 лет он старался всячески убедить себя в этом. Он гипнотизировал себя постоянными разговорами, писаниями и размышлениями на тему о жизни вечной. Правда, не раз ему приходилось отмечать свое тревожное отношение, свои колебания, свои сомнения в этой области. Но постоянно возвращаясь к вопросу о смерти, он все же, казалось, примирился с нею, относился к ней спокойно, даже желал ее.

А между тем, когда он умирал в Крыму, Софья Андреевна сообщала сестре: «Всякое ухудшение вызывает в нем мрачность: он молчит и думает, и Бог знает, что происходит в его душе. Со всеми нами, окружающими, он очень ласков и благодарен. Но болеть ему очень трудно, непривычно, и по моему мнению,

умирать ему очень не хочется». Максим Горький писал о том же времени: «Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобой, там дальше? Совсем ты уничтожишь меня или что-то останется жить…»

По-видимому, в этих грубых словах была значительная доля правды.

По крайней мере, после всех приветствий смерти, рассеянных в дневниках, письмах и разговорах Толстого, поражает неожиданностью запись его секретаря Гусева от 19 января 1909 года. Толстой сказал ему:

«Я сегодня вдруг почувствовал смерть (в мои годы это естественно) и не почувствовал никакого противления. Не то, чтобы желание смерти, как иногда бывает, когда видишь все безумие жизни, и является желание уйти отсюда поскорее, а совершенное спокойствие, готовность. Это первый раз я это испытывал».

Вообще в последние годы жизни он охотно признавал, что еще только ищет истину, что ему предстоит еще много работы над внутренней переменой своей жизни.

И всякая догма, всяческие окончательные теории становились для него ненавистными. Он решительно протестовал против «толстовства» и даже говорил иногда о своих последователях:

— Это — «толстовец», то есть человек самого чуждого мне миросозерцания.

3

— Ты дождешься, что тебя на веревке поведут в тюрьму! — пугала Софья Андреевна.

— Этого мне только и надо, — невозмутимо отвечал Толстой. В самом деле, он очень хотел пострадать за убеждения. Он вел себя почти вызывающе. В разговорах он не скрывал своих мнений. Его страстные нападки на государство, церковь, насилие, собственность печатались за границей на русском и иностранных языках. В России эти памфлеты нелегально распространялись в тысячах экземпляров. Время от времени Толстой писал письма царям. Одно из них (к Николаю II в 1902 году) без всяких прикрас изображало тяжелое внутреннее положение России и общее недовольство. Такие выступления, как «Одумайтесь!» во время русско-японской войны и «Не могу молчать!» в разгар столыпинских казней вызывали негодование в бюрократических

кругах.

Но правительство не трогало Толстого.

Еще в 1891 году против него велась энергичная кампания крайних правых газет по поводу его статей о голоде, появившихся в Англии. Высшие представители власти пытались использовать положение. Победоносцев в каждом отчете о положении русской церкви настойчиво внушал царю необходимость исключительных мер против «основателя новой ереси».

Но в этом вопросе реакционный Александр III не поддавался влияниям. На домогательства реакционеров он отвечал решительно: «Прошу Льва Толстого не трогать, я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя негодование всей России. Если он виноват, тем хуже для него».

Такой же политики держался и Николай II.

Толстой попал в положение совершенно исключительное. Он был окружен сыщиками — добровольными и платными. Правительство желало знать каждый его шаг. Отказы от военной службы, распространение противоправительственной и антицерковной литературы — все указывало при расследовании на Ясную Поляну. И вот молчаливо принята была система — настойчиво преследовать все проявления толстовской проповеди и людей, способствовавших ее распространению. Тюрьма, административная ссылка, лишение мест, дисциплинарные батальоны — все это обрушивалось в изобилии на последователей Толстого и даже весьма близких ему лиц.

Сам же Толстой оставался неизменно вне пределов досягаемости власти.

В конце девяностых годов он обратился с письмами к министрам внутренних дел и юстиции. Он сообщал министрам, что является единственным виновником распространения «толстовских» идей и «заявлял вперед, что будет, не переставая до своей смерти делать то, что правительство считает злом, а он считает своей священной перед Богом обязанностью». Он убеждал министров принять по отношению к нему самые решительные меры — посадить его в тюрьму, сослать или отнестись еще более строго. Он гарантировал, что «большинство людей вполне одобрит такой образ действия и скажет, что давно уже пора было это сделать».

Эти ходатайства и уговоры не имели успеха. И в связи с новыми преследованиями его адептов у него все больше и больше вырабатывалось чувство вины перед ними, благодарность, даже нежность. За их страдания он старался платить своей любовью и дружеской помощью.

Среди причин, привлекавших Толстого к В. Г. Черткову,

конечно, и эти чувства вины и благодарности играли значительную роль. В конце 1896 года Чертков, Бирюков и Трегубое составили воззвание о помощи духоборам, притесняемым властями Кавказа. Толстой присоединился к этому воззванию. Оно было отпечатано во множестве экземпляров на машинке и разослано представителям правительства и общественным деятелям. В воззвании открыто обличалась правительственная власть. Толстого и на этот раз оставили в покое. Остальные подписавшие воззвание подверглись обыску и административной высылке. Черткову было разрешено выехать за границу. Поселясь в Лондоне, он основал книгоиздательство «Свободное Слово». Оно предназначено было для проповеди толстовских идей. Часть издания (около трети) составляли непропущенные русскою цензурою творения Толстого. Все остальное посвящено было произведениям Черткова и его друзей. Дело велось довольно сумбурно. На издание и переправку книг и журнала контрабандным путем в Россию требовались значительные деньги. Часть их поступала от жертвователей через Толстого. Часть внесена в кассу самим Чертковым. Но среди изданного материала только произведения Толстого представляли сериозную ценность. Все это дело ведено было, конечно, по идейным побуждениям. Но вместе с тем оно выдвигало Черткова на мировую арену, как единственного представителя Толстого, его друга и распорядителя судьбою творений великого писателя.

Работа Черткова по собиранию, хранению и изданию произведений Толстого, в глазах последнего, была самоотверженным подвигом. К этому присоединялись нежные чувства к человеку, подвергшемуся преследованиям за открытое исповедание толстовских взглядов.

Чертков был первым крупным последователем Толстого. Он удовлетворял жажде учителя иметь «единоверцев». При постоянно напряженной духовной работе Толстого, при всех ее зигзагах и неожиданностях чрезвычайно важно было иметь под руками человека, «в пуризме христианского учения» которого не было ни малейшего сомнения. Толстой знал свою способность, как он выражался, «закусывать удила» и утверждать «свойственные ему глупости». Представлять все это на заключение педантичного и преданного последователя учения казалось очень важным. К тому же Чертков обладал способностью вызывать Льва Николаевича на изложение своих мыслей, ставя ему различные вопросы. С ним можно было, например, всесторонне и долго обсуждать вопрос о любви к царю Ироду. Все эти особенности Черткова, вместе с преданностью его Толстому и

умением, при желании, быть приятным создавали для него совершенно исключительное положение: он был, по словам Толстого, «самый нужный ему человек».

Уже в конце восьмидесятых годов Чертков стал, по выражению Софьи Андреевны, «коллекционером»: он систематически забирал к себе черновики всего, что написал Толстой, для «использования» и «сохранения». Скоро это вошло в непререкаемый порядок, и всякое слово Толстого, после копировки его, так или иначе поступало к Черткову. Около него образовался впоследствии небольшой штат сотрудников, которые разбирали этот материал, классифицировали, извлекали из него мысли для сводов и т. п.

После отказа от литературной собственности (1891), в руках Толстого оставалось еще право на первое издание, которое, конечно, могло приносить значительный доход. Чертков стоял во главе издательства «Посредник», которое «нуждалось для своего развития в материальных средствах». Средства эти Чертков извлекал, между прочим, из печатания рукописей Толстого «согласно своему усмотрению». Таким образом, Чертков мало-помалу сделался полным хозяином новых творений Толстого.

Отношение к нему Софьи Андреевны вначале было довольно благожелательное. Правда, она ревновала мужа. Порою ей казалось, что Чертков «отбивает» у нее Льва Николаевича. Но с течением времени она привыкла и научилась терпеть этот образец всех толстовских добродетелей. К судьбе религиозно-философских трактатов мужа она относилась равнодушно. Но когда Толстой возвращался к художественному творчеству, она видела, какие крупные суммы можно было извлечь из первого издания. Желание сохранить эти суммы для семьи заставило ее насторожиться. Она старалась давлением на мужа изъять первые издания беллетристики из рук Черткова. Чтобы избежать неприятностей, Толстой в последние годы жизни решил не издавать никаких художественных вещей, и ряд крупных его созданий оставался в рукописях.

Вопрос о судьбе творений Толстого после его смерти долго не поднимался в острой форме.

В 1895 году Толстой формулировал в дневнике свою волю на случай смерти. Между прочим он советовал наследникам отказаться от авторского права на его сочинения. Он только просил об этом, но «никак не завещал».

«Сделаете это, — писал он, — хорошо. Хорошо это будет и для вас; не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не готовы это сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, — было самым тяжелым для меня делом жизни».

Эти распоряжения были извлечены из дневника, подписаны Толстым и хранились у его дочери Марии Львовны.

Узнав об этом случайно, Софья Андреевна в 1902 году уговорила мужа передать документ на хранение в ее руки. Получив бумагу, она не только немедленно уничтожила ее, но удивлялась возмущению своей дочери.

В дневнике 10 октября 1902 года Софья Андреевна писала: «Отдать сочинения Льва Николаевича в общую собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, — мы наградили бы богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина (евреев) и другие. Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрет раньше меня, я не исполню его желания и не откажусь от прав на его сочинения, и если бы я считала это хорошим и справедливым, я при жизни его доставила бы ему эту радость отказ от прав, а после смерти это не имеет уже смысла…»

Если эти заявления и были сделаны в столь открытой и определенной форме, Толстой не обратил на них особенного внимания.

Но в завещательном распоряжении — разборка бумаг Толстого поручена была, между прочим, Черткову. По-видимому, по инициативе последнего, вопрос о завещании снова поднят был в 1904 году. Лев Николаевич в мае 1904 года написал своему другу в Англию очень задушевное, но полуофициальное письмо, в котором подтверждал свое желание, чтобы Чертков вместе с Софьей Андреевной пересмотрели и разобрали в будущем бумаги Толстого и вместе распорядились ими, как найдут нужным. При этом Толстой писал, что считает «какое бы то ни было употребление этих бумаг совершенно безразличным».

На время вопрос снят был с очереди.

Осенью 1906 года Софья Андреевна опасно заболела. Страшные боли заставляли ее непрерывно кричать. Съехались дети. Профессор Снегирев, выписанный из Москвы, определил распадающуюся внутреннюю опухоль. Многое было против операции. Но наступил момент, когда профессор заявил: «если не сделать операции сейчас же, больная умрет». Толстой был решительно против нарушения операцией «величия и торжественности великого акта смерти». Но он устранился от решения. Сама больная и ее дети согласились на операцию.

Профессор Снегирев, с которым Толстой держал себя весьма сурово, тем не менее вспоминает о трогательном отношении Льва Николаевича к больной жене…

«Он однажды сказал больной графине:

— Вот ты лежишь и не ходишь, и не слышу я по комнатам топота твоих ног, и знаешь, не слыша их, я плохо читаю и плохо пишу».

«И в те минуты, когда он посещал ее после операции, сколько нежной трогательности было в его взгляде, его голосе при обыкновенно шутливых выражениях!»

В этом же (1906) Толстого ждало новое, еще худшее испытание. В конце ноября в Ясной Поляне скончалась от тифа его дочь, княгиня Мария Львовна Оболенская.

Через месяц после этой потери Толстой писал в дневнике: «Живу и часто вспоминаю последние минуты Маши (не хочется называть ее Машей, так не идет это простое имя тому существу, которое ушло от меня). Она сидит, обложенная подушками, я держу ее худую, милую руку и чувствую, как уходит жизнь, как она уходит. Эти четверть часа — одно из самых важных, значительных времен моей жизни».

28 августа 1908 года Толстому исполнилось восемьдесят лет. Публика задолго начала готовиться к празднованию его юбилея. В больших городах создались для этого комитеты. Старый писатель прервал все эти приготовления, выступив с гласным протестом против них: он просил друзей не причинять ему этой неприятности. Все приготовления остановились. Тем не менее, в течение двух недель, следовавших за юбилейною датой, нескончаемый поток приветствий со всего мира лился в Ясную Поляну.

Софья Андреевна решила учесть момент и выступить с новым, 20-томным изданием сочинений Толстого. Пользуясь своими связями, она надеялась провести в этом издании многое, запрещенное ранее цензурой.

Печатание должно было обойтись от 50 до 70 тысяч рублей.

Между тем в семье стало известным, что за монопольное право на издание всех сочинений Толстого некоторые фирмы предлагали миллион золотых рублей.

Обратившись к юристам, Софья Андреевна узнала, что по доверенности, бывшей у нее в руках, она не может запродать сочинений Толстого. Вместе с тем обнаружилось, что отказ Льва Николаевича от авторских прав на сочинения, написанные после 1881 года, с его смертью, становится недействительным, если воля его не будет проговорена в завещании, составленном согласно требованиям закона.

Таким образом, графиня должна была издавать сама, но перед нею стояла задача оградить свое издание от всяких неожиданностей в случае смерти Толстого.

Начался ряд новых столкновений. Некоторые весьма бурные

сцены происходили в присутствии Черткова. Было ясно, что воля Толстого имела мало значения для Софьи Андреевны. Она не скрывала, что после смерти великого писателя, сочинения его, изданные после 1881 года, не останутся в общем пользовании. Дело жизни Черткова падало. С величайшим трудом создал он себе положение хозяина и распорядителя всего, написанного Толстым после 1881 года. Со смертью великого писателя, в права вступали наследники. Обеспечить исполнение «воли Толстого», т. е. упрочить положение Черткова, мог только акт юридического завещания. Конечно, обращение к авторитету и насилию государства было совершенно противно христианским воззрениям, как понимали их толстовцы. Но Чертков не остановился перед этим, хотя Толстой «в пуризме христианского учения никого не знал лучше его». Медлить было нельзя. Каждый день мог принести непоправимые неожиданности. Толстой дряхлел и становился все уступчивее в интересах семейного мира.

Чертков повел дело обдуманно и методично. В сентябре 1909 года Толстые гостили у него в имении Крекшино. Наедине он указал Толстому, что его дети намерены присвоить сочинения, отданные всем. Толстой записал в дневнике: «Не хочется верить». Тем не менее на другой день он подписал документ, названный завещанием. Трое гостей Черткова засвидетельствовали этот акт. В нем Толстой подтверждал свое желание, чтобы сочинения его, написанные после 1881 года, оставались и после его смерти в общем пользовании. «Желаю, — значилось далее в завещании, — чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы В. Г. Черткову, с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь…»

Бумага эта была предъявлена опытному адвокату, который признал ее юридически недостаточной.

Произошло несколько заседаний Черткова и его друзей. Вместе с тем же адвокатом они вырабатывали новую форму завещания.

При этом Чертков решил уклониться от положения юридического наследника и перенес всю тяжесть будущих конфликтов на младшую дочь Толстого — гр. Александру Львовну. Конечно, роль этой официальной наследницы должна была состоять только в том, чтобы, как пишет Чертков, «обеспечить мне возможность беспрепятственно распоряжаться литературным наследием Льва Николаевича, следуя данным им мне указаниям». Это последнее обстоятельство впоследствии было точно проговорено в особой объяснительной записке к завещанию, составленной Чертковым и подписанной Толстым.

На совещаниях Черткова и его друзей с адвокатом выработан текст формального завещания, который и представлен Толстому, — конечно, тайно от Софьи Андреевны.

Подписывая бумагу, Толстой сказал: «Тяжело мне все это дело. Да и не нужно это — обеспечивать распространение своих мыслей при помощи разных там мер. Вон Христос, хотя и странно это, что я как будто сравниваю себя с ним, — не заботился о том, чтобы кто-нибудь не присвоил в свою личную собственность его мыслей, да и не записывал сам своих мыслей, а высказывал их смело и пошел за них на крест. И мысли эти не пропали. Да и не может пропасть бесследно слово, если оно выражает истину и если человек, высказывающий это слово, глубоко верит в истинность его. А эти все внешние меры обеспечения только от неверия нашего в то, что мы высказывали».

Посланный Черткова возражал.

— Я не скрою от вас, — сказал он между прочим, — как нам, друзьям вашим, больно было выслушивать по вашему адресу те упреки, по которым выходило, что, вопреки своему отрицанию частной земельной собственности, вы все-таки взяли и перевели имение ваше на имя жены и детей. И точно также больно будет выслушивать и то, что вот, мол, несмотря на то, что Толстой наверно знал, что заявление его 1891 года никакой юридической силы не имеет, все-таки ничего не предпринял для осуществления своего желания, и тем самым снова сознательно поспособствовал переводу своей литературной собственности на своих семейных. Я не могу выразить, до чего больно будет друзьям вашим выслушивать это…

Аргумент попал в цель. Толстой давно уже писал и говорил, что раскаивается в передаче семье состояния: по его наблюдениям, некоторым членам семьи деньги принесли большой вред.

Обдумав на прогулке замечания Страхова, Толстой решил завещать Александре Львовне (т. е. в полное распоряжение Черткова) все свои произведения — даже и те, которые написаны были до 1881 года и издавались Софьей Андреевной в пользу семьи.

Это было больше, чем желал Чертков. Восторгаясь решительным поступком Толстого, он однако напоминал ему, что собственное поведение Льва Николаевича давало повод его семейным считать произведения, написанные до 1881 года, — их собственностью.

Толстой не обратил внимания на это напоминание. И, после нескольких неудачных попыток, 22 июля 1910 года переписал и подписал окончательное формальное завещание. Дело

происходило тайно, в чаще леса. Свидетелями были: друг Черткова — пианист Гольденвейзер и двое служащих Черткова.

Отношения Софьи Андреевны с Чертковым часто обострялись. Лев Николаевич не уставал повторять, что это — «самый нужный, самый близкий ему человек». Нерасположение к приятелям мужа довольно обычное чувство у многих жен. Софья Андреевна всегда была особенно склонна к ревности. Ее историческая задача представлялась ей в том, чтобы быть на самом деле (и в особенности казаться современникам и потомству) доброй феей, охранявшей талант и здоровье гениального мужа. Появление «самого нужного человека» разрушало эти мечты. Характер ее с годами становился раздражительным, деспотичным, несдержанным. Порой она полагала, что доступ к душе мужа загражден для нее Чертковым, искусно втершимся в ее семейную жизнь. Казалось, он отнимал у нее мужа. Но порывы ревности проходили, и Софья Андреевна заставляла себя не проявлять скрытого недоброжелательства. Шли годы. Восьмилетнее вынужденное пребывание Черткова в Англии смягчило ревность графини. И еще в 1908 году на семейном юбилейном торжестве она пила за здоровье Черткова, провозгласив, что считает его «лучшим другом их семьи». В 1909 году она вместе с мужем гостила у Чертковых в Крекшине.

Но с некоторых пор она чувствовала вокруг себя какую-то конспирацию. У Льва Николаевича завелись тайны. Младшая дочь (гр. Александра Львовна) стала самостоятельным, взрослым человеком. Она обожала отца. По примеру старших сестер, она помогала ему в его занятиях и выучилась для этого стенографии. Александра Львовна проявляла с ранней молодости энергичный, полный инициативы, но несколько своенравный характер. Защищая интересы отца, она приняла по отношению к матери не вполне дружелюбный тон. Вместе с подругой своею, служившей рингтонисткой в Ясной Поляне, гр. Александра Львовна составила как бы «партию Толстого». За ними на горизонте стояли Чертков, профессор консерватории Гольденвейзер и другие близкие приятели Льва Николаевича. Софья Андреевна осталась одна. Ее энергично поддерживали, правда, двое из младших сыновей, разделявшие ее отрицательное отношение к идеям Толстого, интерес к наследству и нерасположение к Черткову. Но они появлялись в Ясной Поляне лишь временами.

Около дряхлевшего и в высшей степени миролюбиво настроенного Толстого образовались два воюющих лагеря, которые разрывали его на части.

Софья Андреевна уверяла, что в последнее время все от нее скрывалось: разговоры, свидания, письма, тайная передача каких-

то бумаг в сообществе дочери ее Саши и разных чертковских секретарей, чего прежде никогда не было в долгое время ее замужества. Если так усердно от нее скрывали, значит, есть что скрывать. Все вокруг графини возбуждало ее страх и подозрение.

Конечно, в этих душевных страданиях играли известную роль и материальные соображения. Семья, которую больше всего на свете любила Софья Андреевна, состояла уже (со всеми внуками) из 28 человек. Благосостояние этой семьи в значительной степени зависело от того, удастся ли устранить опасность нежелательного завещания Льва Николаевича. Миллион рублей висел на волоске. Вызывала постоянное беспокойство и судьба нового, начатого издания в 20 томах.

Наступил момент, когда здоровье графини не выдержало всех этих волнений. 22 июня 1910 года Толстой, гостивший у Черткова, получил от жены тревожную телеграмму и возвратился в Ясную. Он застал жену в ужасном состоянии. Несомненно, она была нервно больна. Наличность болезни до сих пор отрицается Чертковым. Но для этого нет никаких оснований. Софье Андреевне шел шестьдесят шестой год. Позади было 48 лет супружеской жизни (необычайно нервной и трудовой) и тринадцать родов. Уже в 1906 году профессор Снегирев не решался на операцию, между прочим, ввиду «истасканности» нервной системы графини. Наконец, в июне 1910 года двое приглашенных в Ясную врачей — психиатр профессор Россолимо и хороший врач Никитин, знавший Софью Андреевну давно, после двухдневных исследований и наблюдений, установили диагноз «дегенеративной двойной конституции: паранойяльной и истерической, с преобладанием первой». В данный момент они констатировали «эпизодическое обострение».

Драматизм положения усугублялся тем, что самые несомненные проявления болезни переплетались с ревностью, ненавистью и материальными расчетами. Чертков и его друзья хотели видеть только злостную симуляцию и требовали от Толстого решительности и упорства. Но Лев Николаевич думал иначе.

«Знаю, — писал он в дневнике (14 августа 1910 года), — что все это нынешнее, особенно болезненное состояние может казаться притворным, умышленно вызванным (отчасти это есть), но главное в этом все-таки болезнь, совершенно очевидная болезнь, лишающая ее воли, власти над собой. Если сказать, что в этой распущенной воле, потворстве эгоизму, начавшихся давно, виновата она сама, то вина эта прежняя, давнишняя; теперь же она совершенно невменяема, и нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости, и невозможно, мне, по крайней мере, совершенно

невозможно ей contrecarrer (противодействовать (фр.)) и тем явно увеличивать ее страдания. В то же, что решительное отстаивание моих решений, противных ее желанию, могло бы быть полезно ей, я не верю, а если бы и верил, все-таки не мог бы этого делать…»

Он уговаривает обе противные стороны, умоляет «не преувеличивать», пишет Черткову: «Она мне часто ужасно жалка. Как подумаешь, каково ей одной по ночам, которые она проводит больше половины без сна, с смутным, но больным сознанием, что она нелюбима и тяжела всем, кроме детей… нельзя не жалеть».

— Некоторые, как Саша, — говорил он, — хотят все объяснить корыстью. Но здесь дело гораздо более сложное! Эти сорок лет совместной жизни… Тут и привычка, и тщеславие, и ревность, и болезнь… Она ужасно жалка бывает в своем состоянии!..

Первое крупное столкновение произошло из-за дневников Толстого, часть которых оказалась у Черткова. Софья Андреевна в горячем письме просила Черткова вернуть дневники; он отвечал отказом. Во время начавшихся по этому поводу истерических припадков, Чертков вел себя грубо. Она потребовала, чтобы Чертков не посещал их дома. В половине июля Софья Андреевна уже догадывалась, что существует какое-то завещание.

И в доме Толстых, в счастливой и светлой Ясной Поляне начался ад. Несчастная женщина потеряла над собой всякую власть. Она подслушивала, подглядывала, старалась не выпускать мужа ни на минуту из виду, рылась в его бумагах, разыскивая завещание или записи о себе и о Черткове. Она потеряла всякую способность относиться справедливо к окружающим. Время от времени она бросалась в ноги Толстому, умоляя сказать, существует ли завещание. Она каталась в истериках, стреляла, бегала с банкой опиума, угрожая каждую минуту покотить с собою, если тот или иной каприз ее не будет исполнен немедленно…

Жизнь восьмидесятидвухлетнего Толстого была отравлена. Тайное составление завещания лежало у него на совести. Все время он находился между не вполне нормальною женою и ее противниками, готовыми обвинять больную женщину во всевозможных преступлениях.

Ее угрозы самоубийством, хотя и сделались явлением почти обыденным, всегда держали его в страшном напряжении.

— Подумать, — говорил он, — эти угрозы самоубийства — иногда пустые, а иногда — кто их знает? — подумать, что может это случиться! Что же, если на моей совести будет это лежать?

До какой остроты и ненависти доходила борьба около апостола любви и правды, видно из следующего письма Черткова

к Толстому от 27 июля 1910 года:

Дорогой друг, я сейчас виделся с Александрой Львовной, которая рассказала мне о том, что вокруг вас делается. Ей видно гораздо больше, чем вам, потому что с ней не стесняются, и она со своей стороны видит то, чем вам не показывают…

Тяжелая правда, которую необходимо вам сообщить, состоит в том, что все сцены, которые происходили последние недели, приезд Льва Львовича и теперь Авдрея Львовича, имели и имеют одну определенную практическую цель. И если были при этом некоторые действительно болезненные явления, как и не могли не быть при столь продолжительном, напряженном и утомительном притворстве, то и эти болезненные явления искусно эксплуатировались все для той же одной цели.

Цель же состояла в том, чтобы, удалив от вас меня, а, если возможно, и Сашу, путем неотступного совместного давления, выпытать от вас, написали ли вы какое-нибудь завещание, лишающее ваших семейных вашего литературного наследства; если не написали, то путем неотступного наблюдения над вами до вашей смерти помешать вам это сделать, а если написали, то не отпускать вас никуда, пока не успеют пригласить черносотенных врачей, которые признали бы вас впавшим в старческое слабоумие для того, чтобы лишить значения ваше завещание…»

Толстой был вовлечен в глубоко противную ему борьбу, которую вели около него и за него близкие ему люди. Он изнемогал и задыхался. Наконец, 3-го октября у него разразился страшный припадок с судорогами. Софья Андреевна не растерялась. Она деятельно помогала врачу и детям около постели умиравшего мужа. Потом она кинулась на колени, обняла его ноги, припала к ним головой и долго оставалась в таком положении.

Она была страшно жалка. Около постели больного и наедине, выбегая в другие комнаты, она поднимала кверху глаза, торопливо крестилась маленькими крестами и шептала: «Господи! Только бы не на этот раз, только бы не на этот раз!..»

Александре Львовне она говорила:

— Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!..

По свидетельству беспристрастных людей, весь этот ужас и горе были совершенно искренни.

И все же… кто разгадает человеческое сердце? Несмотря на свое волнение, Софья Андреевна успела взять с письменного стола мужа портфельчик с бумагами.

Старшая дочь остановила ее:

— Мама, зачем вы берете портфель?

— Чтобы Чертков не взял…

Толстой выздоровел. Но он заметно слабел, предчувствовал близкую смерть и все настойчивее думал о том, чтобы уйти из этого «дома сумасшедших», зараженного ненавистью и борьбою. Ему стало неудержимо хотеться умереть в спокойной обстановке, вдали от людей, «разменявших его на рубли».

В конце октября он говорил крестьянину Новикову, которого знал давно:

— Я киплю в этом доме, как в аду. Да, да, поверьте, я с вами говорю откровенно, я не умру в этом доме. Я решил уйти в незнакомое место, где бы меня не знали. А может, я и впрямь приду помирать в вашу хату… Для себя одного я этого не делал, не мог сделать, а теперь вижу, что и для семейных будет лучше, меньше будет из-за меня спору, греха…

24-го октября Лев Николаевич написал этому крестьянину просьбу сообщить немедленно, можно ли нанять подле него маленькую, теплую избу — на случай его решения уйти из Ясной.

Но Толстой еще медлил и колебался. Софья Андреевна давно уже твердо и решительно обещала мужу покончить с собой в день его ухода.

4

В третьем часу ночи на 28 октября Толстой проснулся. Как и в прежние ночи, слышны были звуки отворяемых дверей и осторожных шагов. Он взглянул в сторону своего кабинета. Там был яркий свет. Слышалось шуршание. Он понял, что Софья Андреевна роется в его бумагах, разыскивая что-то. Накануне она просила, требовала, чтобы он не запирал дверей. Ее обе двери всегда открыты, так что малейшее движение мужа слышно ей. И днем и ночью все его движения, слова должны быть известны ей и быть под ее контролем… Опять шаги, осторожное отпирание двери из кабинета, и она проходит. Неудержимое отвращение, возмущение овладевают им. Он чувствует что-то недолжное, постыдное в своем положении…

Он хотел заснуть, но не мог, поворочался около часу, зажег свечу и сел. Немедленно Софья Андреевна явилась с вопросами о здоровье.

Отвращение и возмущение росли. Он задыхался. Сосчитал пульс — 97. Он не мог лежать. И вдруг окончательное, твердое решение уехать созрело в нем.

Он быстро написал жене письмо и торопливо начал

укладываться. Потом разбудил доктора Душана Маковицкого и дочь с ее подругой.

Тихо, едва ступая, Толстой подошел к комнате жены, затворил двери ее спальни и двери в коридор.

И все же: «Тише, тише, не шумите!» Он дрожал при мысли, что жена услышит, начнутся истерики и уже без сцены не удастся уехать…

Они двигались чуть слышно, не разговаривая. Работа спорилась плохо: руки дрожали, ремни не затягивались, чемоданы не закрывались…

В шестом часу он идет на конюшню будить людей и запрягать лошадей. Ночь — глаза выколи. Он сбивается с дорожки, попадает в чащу, накалывается, стукается о деревья, падает, теряет шапку, не находит, насилу выбирается назад, к дому. Дочь дает ему другую шапку, и с электрическим фонариком они тащат на себе вещи к конюшне. Будят людей, закладывают… Толстой, торопясь и волнуясь, с величайшим трудом надевает на лошадь уздечку, он дрожит, ожидая погони. Но вот все готово. Конюх с факелом вскочил верхом. За ним, в объезд дома, двинулась пролетка…

В эту темную ночь восьмидесятидвухлетний Толстой, дрожа, тайком покидал навсегда Ясную Поляну.

Его сопровождал только друг его, доктор Маковицкий.

* * *

Около 11 часов утра послышались шаги в спальне Софьи Андреевны. Дочь вышла в залу ей навстречу.

— Где папа? — испуганным голосом спросила графиня.

— Отец уехал.

— Куда?

— Не знаю.

— Как не знаешь, куда уехал? Уехал совсем?

— Он оставил тебе письмо, вот оно.

Софья Андреевна поспешно схватила письмо и быстро пробежала его.

Толстой писал:

«4 ч. утра. 28 октября 1910 года.

Отъезд мой огорчит тебя, сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится — стало невыносимо. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста — уходят из

мирской жизни, чтобы жить в уединении, в тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобою, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если захочешь что сообщить мне — передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому. Лев Толстой».

— Ушел, ушел совсем!.. — закричала графиня. — Прощайте! я не могу больше жить без него, я утоплюсь!..

Она бросила на пол письмо и в одном платье побежала из дому. Вот она уже приближается к пруду. За ней бегут дочь, секретарь Толстого, прислуга…

Софья Андреевна бросается на помост для стирки белья, поскальзывается, падает, скатывается в пруд в неглубокое место и уже начинает погружаться в воду…

Дочь бросается за ней. Стоя по пояс в воде, она вытаскивает мать и передает ее подбежавшим.

В этот ужасный день графиня не раз пыталась добежать до пруда. Но за ней следили и силой возвращали назад. Она, не переставая, плакала, била себя в грудь то тяжелым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, хотела выброситься в окно…

Она всю ночь ходила из комнаты в комнату, то громко рыдая, то успокаиваясь.

К вечеру приехал из Тулы врач психиатр с сестрой милосердия. На другой день в Ясную съехалась семья.

* * *

А Толстой между тем добрался до женского монастыря, где жила его сестра — монахиня. Здесь неожиданно настигла его младшая дочь со своей подругой. Боясь, что его местопребывание будет открыто, он снова вдруг собрался в дальнейший путь. Решено было ехать в Новочеркасск, где служил родственник Толстого, попытаться добыть заграничные паспорта и уехать куда-нибудь не в крупный центр Западной Европы — например, в Болгарию…

Но загадывали и обсуждали дальнейший маршрут, главным образом, спутники Толстого. Сам он, жалкий, слабый, пошатывающийся, только торопил с дальнейшим бегством, боясь погони…

— Довольно, довольно, — говорил он, — только ни в какую колонию, ни к каким знакомым, а просто в избу к мужикам…

— Разве ты можешь пожалеть о том, что сделано, или обвинить себя, если что-нибудь случится с матерью? — спрашивала его дочь.

— Разумеется, нет, — отвечал он. Разве может человек жалеть о чем-нибудь, когда он не мог поступить иначе. Но если что-нибудь случится с ней, мне будет очень, очень тяжело…

Он считал, что для него настал момент спасать не себя, Льва Николаевича, а то человеческое достоинство и искру Божию, которые были в конец унижены его положением в Ясной Поляне.

Они обменялись с женою письмами. Ее последнее письмо вызывает при чтении глубокое сострадание: жалкая, растерянная, раздавленная женщина не знает, что говорит: она еще надеется, молит о сожалении, клянется в любви, обещает, уговаривает.

Толстой пишет ей, что свидание их было бы ужасно. Он верил ее искренности, но считал, что она не может теперь исполнить того, что обещает.

Уезжая от возможного преследования, он «все думал о выходе из их положения и не мог придумать никакого, а ведь он будет, хочешь — не хочешь, а будет и не тот, который предвидишь…»

Судьба уже готовила ему этот выход. В вагоне он заболел. Пришлось остановиться и выйти на большой станции — в Астапове. Начальник станции уступил больному свою квартиру. К Толстому подкралось то воспаление легких, которое так часто уносит стариков.

Он умер через 7 дней, окруженный старательным уходом, толпой наехавших докторов, любовью и лаской. Его друг Чертков, две дочери и старший сын приняли его последний вздох. Уже в разгаре болезни он диктовал телеграмму младшим сыновьям: «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мама было бы для меня губительным».

Больше всего он боялся, что место пребывание его будет открыто, и Софья Андреевна явится к нему.

Однажды он посмотрел на старшую дочь, сидевшую около кровати, и тихо сказал: «На Соню много падает…»

Татьяна Львовна переспросила.

— На Соню… на Соню много падает… Мы плохо распорядились…

Потом он сказал что-то непонятное.

— Ты хочешь ее видеть? Соню хочешь видеть? Он молчал.

Иногда он вскрикивал в бреду:

— Удрать… удрать… догонят…

Между тем в это время вокзал в Астапове уже полон был корреспондентами. Телеграф работал и разносил по всему миру вести о последних днях Толстого. А на запасных путях стоял поезд, в котором жила Софья Андреевна и младшие члены семьи. Ее убедили не входить к Толстому до его выздоровления.

Опираясь на руку одного из сыновей, она медленно подходила к маленькому дому начальника станции и устремляла глаза на заветные окна. В одной из комнат открывалась форточка, и ей сообщали последние вести. Постояв, она тихо возвращалась в свой вагон, чтобы, оставшись наедине, вволю поплакать о себе и о бедном Левочке.

«Пустили меня к нему доктора, — пишет Софья Андреевна, — когда он едва дышал, неподвижно лежа навзничь, с закрытыми уже глазами. Я тихонько на ухо говорила ему с нежностью, надеясь, что он еще слышит, — что я все время была там, в Астапове, что любила его до конца… Не помню, что я ему еще говорила, но два глубоких вздоха, как бы вызванные страшным усилием, отвечали мне на мои слова, и затем все утихло».

Во время болезни Толстой сильно страдал физически, но мягко и необыкновенно любовно относился к окружающим. Он волновался и раздражался только тогда, когда дежурившие около его постели не могли записать и прочесть ему мысли, которые он тщетно пытался диктовать.

В полузабытьи он шептал:

— Искать, все время искать…

Слова его все, какие можно было разобрать, записаны. Но что думал он в долгие дни и ночи, которые провел в Астапове? По-видимому, он предчувствовал близкую кончину. Можно определенно сказать, что смерть, которую он так часто звал за последние годы, — на этот раз была для него тяжела и неприятна. Он не хотел умирать. Но все совершилось гораздо проще и обыденнее, чем он думал когда-то…

Однажды подруга Александры Львовны вошла в комнату.

Вдруг он привстал с кровати, протянул к ней руки и громким, радостным голосом крикнул:

— Маша! Маша!!..

Он как будто ждал и, наконец, увидел свою любимую дочь, скончавшуюся четыре года назад.

Последнее дыхание он испустил спокойно.

* * *

Прошло 8 лет. По делам издания сочинений Толстого мне пришлось провести несколько дней в Ясной Поляне. Софья Андреевна уже примирилась со своей младшей дочерью. Она встретила меня с достоинством, устало и спокойно. Ей было уже 74 года. Высокая, немного сгорбленная, сильно похудевшая — она тихо, как тень, скользила по комнатам и казалось, при сильном дуновении ветра не удержалась бы на ногах. Каждый день она проходила версту до могилы мужа и меняла на ней цветы.

Я тоже прошел на могилу. Толстой погребен в глубине парка, на краю оврага, под большими, развесистыми деревьями. Вокруг необделанной земляной насыпи — деревянная решетка. Внутри — простая скамья. Все было тихо в этом уединенном месте. И только непонятный шелест низко склонившихся ветвей будил грустные мысли.

Беседуя, Софья Андреевна не улыбалась, но говорила охотно. Она как бы потухла. Хотя с удовольствием читала вслух свои воспоминания о счастливых днях Ясной Поляны. Она помнила наизусть несколько стихотворений, посвященных ей Фетом. О Черткове говорила без раздражения, но с холодною, ясно выраженною неприязнью.

Отзывы ее о последних десятилетиях жизни ее гениального мужа не всегда отличались доброжелательством.

Помолчав, она неизменно прибавляла:

— Да, сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он за человек…

Впервые опубликовано: Париж, изд. «Современные записки». 1928. затем переиздана в Германии на немецком языке, также издавалась на французском и английском языках.